

ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ ОСКАР «ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ГОДА»

12 ЛЕТ РАБСТВА

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА,
ПОХИЩЕНИЯ И СИЛЫ ДУХА



СОЛОМОН НОРТАП

Проект TRUE STORY. Книги,
которые вдохновляют (ЭКСМО)

Соломон Нортап

**12 лет рабства. Реальная
история предательства,
похищения и силы духа**

«ЭКСМО»

1853

Нортап С.

12 лет рабства. Реальная история предательства, похищения и силы духа / С. Нортап — «Эксмо», 1853 — (Проект TRUE STORY. Книги, которые вдохновляют (Эксмо))

В 1853 году книга «12 лет рабства» всполошила американское общество, став предвестником гражданской войны. Через 160 лет она же вдохновила Стива МакКуина и Брэда Питта на создание киношедевра, получившего множество наград и признаний, включая Оскар-2014 как «Лучший фильм года». Что же касается самого Соломона Нортапа, для него книга стала исповедью о самом темном периоде его жизни. Периоде, когда отчаяние почти задушило надежду вырваться из цепей рабства и вернуть себе свободу и достоинство, которые у него отняли. Текст для перевода и иллюстрации заимствованы из оригинального издания 1855 года. Переводчик сохранил авторскую стилистику, которая демонстрирует, что Соломон Нортап был не только образованным, но и литературно одаренным человеком.

© Нортап С., 1853

© Эксмо, 1853

Содержание

Серия «True Story»	6
Предисловие первого издателя	10
Рассказ Соломона Нортапа	11
Глава I	11
Глава II	16
Глава III	21
Глава IV	28
Глава V	33
Глава VI	39
Глава VII	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Соломон Нортап

12 лет рабства. Реальная история

предательства, похищения и силы духа

Solomon Northup

Twelve Years a Slave

Narrative of Solomon Northup, a citizen of New York, kidnapped in Washington-city in 1841, and rescued in 1853, from a cotton plantation near the Red River, in Louisiana

Иллюстрации и текст для перевода заимствованы из издания 1855 года, выпущенного MILLER, ORTON & MULLIGUN, New York

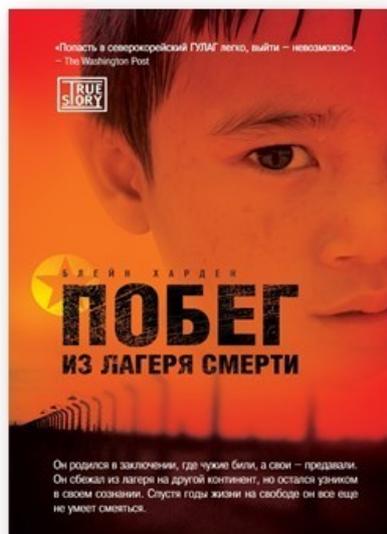
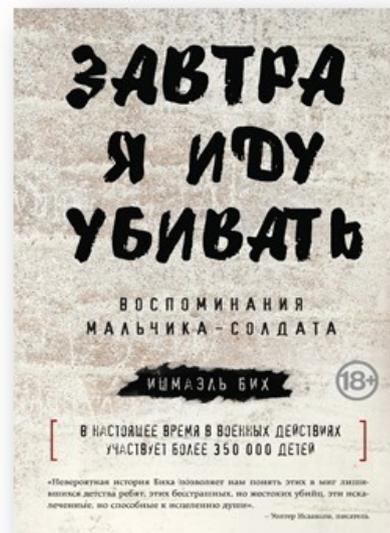
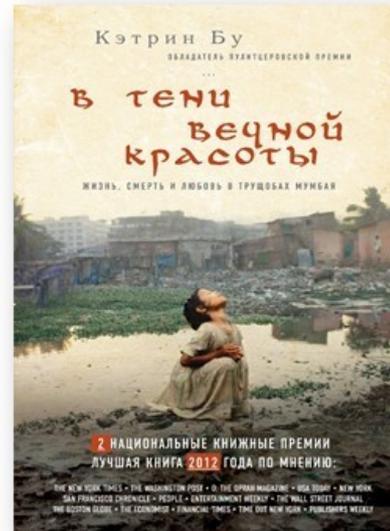
© Мельник Э.И., перевод на русский язык, 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Серия «True Story»

КНИГИ СЕРИИ “TRUE STORY”



«Затерянные в Шангри-Ла»

Автор: Митчелл Зукофф

Реальная история о том, как увлекательное путешествие обернулось авиакатастрофой и отчаянной борьбой за выживание на диком острове, населенном туземцами-каннибалами. Признана «ЛУЧШЕЙ КНИГОЙ 2011 ГОДА».

«В тени вечной красоты. Жизнь, смерть и любовь в трущобах Мумбая»

Автор: Кэтрин Бу

Лучшая книга 2012 года, по мнению более 20 авторитетных изданий. Герои книги живут в трущобах, беднейшем квартале Индии, расположенном в тени ультрасовременного аэропорта Мумбаи. У них нет настоящего дома, постоянной работы и уверенности в завтрашнем дне. Но они хватаются за любую возможность вырваться из крайней нищеты, и их попытки приводят к невероятным последствиям...

«12 лет рабства. Реальная история предательства, похищения и силы духа»

Автор: Соломон Нортап

Книга Соломона Нортапа, которая стала исповедью о самом темном периоде его жизни. Периоде, когда отчаяние почти задушило надежду вырваться из цепей рабства и вернуть себе свободу и достоинство, которые у него отняли. Текст для перевода и иллюстрации заимствованы из оригинального издания 1855 года. По этой книге был снят фильм «12 лет рабства», номинированный на «Оскар-2014».

«Побег из лагеря смерти (Северная Корея)»

Автор: Блейн Харден

Международный бестселлер, основанный на реальных событиях. Книга была переведена на 24 языка и легла в основу документального фильма, получившего мировое признание. Книга-скандал! Герой книги Шин – единственный в мире человек, который родился в северокорейском концлагере и смог оттуда сбежать.

«Завтра я иду убивать. Воспоминания мальчика-солдата»

Автор: Ишмаэль Бих

Исповедь молодого человека из Сьерра-Леоне, который после нападения боевиков на его родной поселок потерял всех членов своей семьи и был вынужден вступить в армию в возрасте 13 лет. К 16 годам он уже был профессиональным убийцей, не задающим лишних вопросов. «Завтра я иду убивать» позволяет нам взглянуть на войну глазами подростка, более того – подростка-солдата.

* * *



Соломон в своей невольничьей одежде на плантации

Это необыкновенное совпадение – то, что Соломона Нортапа привезли на плантацию в долине Ред-Ривер – в те самые места, где разыгрывались события невольничьей жизни Дяди Тома. Рассказ Соломона об этой плантации и об образе жизни на ней и некоторые

события, которые он описывает, образуют поразительную параллель двух историй.

Гарриет Бичер-Стоу

Ключ к Хижине дяди Тома¹

Со всем уважением посвящается Гарриет Бичер-Стоу, имя которой во всем мире связывают с великой реформой². Это повествование дает еще один ключ к ее «Хижине дяди Тома»

Такие простофили за обычай
Так держатся, так склонны почитать
Всё древнее, ссылаются так рьяно
На долгие лета седых традиций,
Что даже рабство, худшее из зол —
А как иначе? ведь наследье предков! —
Блюдут и охраняют, как святыню.
Но гоже ли – и так ли уж бесспорно,
Коли разумно к спору подойти —
Чтоб человек, кто соткан, как иные,
Из необузданных страстей, в ком похоть
И глупость встретились в не меньшей мере,
Нежель в рабе, которым он повелевает, —
Так гоже ль быть ему единоличным
Всевластным деспотом и похваляться,
Что на своей земле свободный – он один?

Уильям Коупер³

¹ Г. Бичер-Стоу говорит об удивительном совпадении событий сочиненного ею романа с предлагаемым читателю документальным повествованием Нортапа. Эпиграф отсылает нас к книге Г. Бичер-Стоу, выпущенной спустя год после публикации ее «Хижина дяди Тома» (1852). «Ключ...» вышел в ответ на многочисленные обвинения в том, что события ее шумевшего романа о пожилом рабе-негре – неправдоподобная выдумка. «Ключ к Хижине дяди Тома», среди прочего, содержал документальные материалы, подтверждающие совпадение творческого прозрения писательницы с реалиями жизни рабов американского Юга. (Гарриет утверждала, что «Хижина...» не была калькой с чьей-то истории, а лишь ее собственным художественным промыслом, которым руководил сам Бог.) – Прим. ред.

² Речь, видимо, идет об отмене рабства. В 1854 году в США появилась Республиканская партия, стремившаяся запретить рабство негров на Юге и Западе США. В 1860 году президентом США стал представитель этой партии Авраам Линкольн. А в 1861-м началась Гражданская война (война Севера и Юга), результатом которой стала полная отмена рабства. (Юридически это произошло на два года позже, чем в России.) – Прим. ред.

³ Уильям Коупер (1731–1800) – английский поэт, один из деятелей английского «возрождения поэзии» начала XX в.; цитата из поэмы «Задача».

Предисловие первого издателя

Когда издатель приступил к приготовлению нижеследующего повествования, он не предполагал, что оно вырастет до размеров этого тома. Однако ради того, чтобы изложить все факты, сообщенные ему, представилось необходимым, чтобы повествование достигло своей нынешней продолжительности.

Многие утверждения, содержащиеся на следующих страницах, подтверждаются избыточными доказательствами – другие же полагаются исключительно на уверения Соломона. В том, что он строго придерживался истины, по крайней мере сам издатель, имевший возможность выявить любое противоречие или несоответствие в его утверждениях, вполне уверен. Он неизменно повторял одну и ту же историю, не отклоняясь от нее ни в малейшей частности, а также тщательно просматривал рукопись, отмечая изменения во всех местах, где возникала самая незначительная неточность.

Так сложилась судьба Соломона во время его пленения, что он принадлежал нескольким хозяевам. То, как с ним обращались во время пребывания в «Сосновых Лесах», показывает, что среди рабовладельцев были не только жестокие люди, но и гуманные. О некоторых из них в тексте говорится с чувством благодарности – о других с чувством горечи. Полагаем, что нижеследующий рассказ о его переживаниях на Байю-Бёф представляет точную картину рабства, со всеми ее светом и тенями, в том виде, как она ныне существует в этой местности. Единственной целью издателя – человека не подверженного, по его собственному мнению, каким-либо предрассудкам или заранее составленным суждениям – было изложить правдивую историю жизни Соломона Нортапа такой, какой он услышал ее из собственных уст автора.

Издатель верит, что ему удалось преуспеть в достижении этой цели, несмотря на многочисленные изъяны стиля и выражения, которые книга может содержать.

Дэвид Уилсон

Уайтхолл, Нью-Йорк, май 1853 года

Рассказ Соломона Нортапа

Глава I

Вступление – Родословная – Семейство Нортап – Рождение и родители – Минтус Нортап – Брак с Энни Хэмптон – Благие намерения – Канал Шамплейн – Поездка в Канаду – Фермерство – Скрипка – Стряпня – Переезд в Саратогу – Паркер и Перри – Рабы и рабство – Дети – Начало бед

Поскольку я был рожден свободным человеком и более тридцати лет наслаждался благами свободы в свободном штате – а под конец этого времени был похищен и продан в рабство, в коем и оставался до моего счастливого спасения в месяце январе 1853 года, пробыв в неволе 12 лет, – было высказано предположение, что рассказ о моей жизни и судьбе окажется небезынтесен публике.

С момента моего возвращения на свободу от внимания моего не ускользнул растущий во всех северных штатах интерес к вопросу рабства. Беспрецедентное число произведений в жанре художественного вымысла, претендующих на то, чтобы изображать его черты в их наиболее привлекательных и наиболее отталкивающих аспектах, ходит ныне из рук в руки – и, как я понимаю, создает плодотворную тему для комментариев и обсуждения.

Я могу высказываться о рабстве лишь в той мере, насколько оно было доступно моему наблюдению – насколько я познал и испытал его на себе. Моя цель – дать честное и правдивое изложение фактов: повторить без преувеличения историю моей жизни, предоставляя другим определять, способен ли даже художественный вымысел вообразить картину столь жестокой несправедливости и суровой неволи.

Настолько, насколько я мог удостовериться, предки мои со стороны отца были рабами на Род-Айленде. Они принадлежали семейству, носившему фамилию Нортап, и один из членов этого семейства, перебравшись в штат Нью-Йорк, осел в Хусике, что в графстве Ренселер. Он привез с собой Минтуса Нортапа, моего отца. По смерти этого джентльмена, которая случилась, должно быть, лет около пятидесяти назад, отец мой стал свободным человеком, получив вольную по указанию, сделанному в его завещании⁴.

Родственник семейства, при котором жили и служили мои предки и от которого переняли фамилию, принадлежащую ныне мне, – Генри Б. Нортап, эсквайр, из Сэнди-Хилл, весьма достойный адвокат и человек. Ему по воле Провидения обязан я своей нынешней свободой и возвращением в общество жены моей и детей. На счет этого факта можно отнести то неизменное участие, которое он всегда проявлял к моей судьбе.

Вскоре после обретения свободы отец мой перебрался в городок Минерва, что в графстве Эссекс, штат Нью-Йорк, где я и родился в месяце июле 1808 года. Долго ли он оставался в упомянутом городе, у меня нет возможности разузнать с определенностью. Оттуда он перебрался в Грэнвиль, в графстве Вашингтон, и поселился в местечке, известном под названием Слайборо, где несколько лет трудился на ферме Кларка Нортапа, еще одного родственника своего прежнего хозяина. Оттуда он ушел на ферму Олдена, что на Мосс-стрит, поодаль к северу от деревни Сэнди-Хилл. А уж потом на ферму, которая ныне принадлежит Расселу Прэтту и расположена близ Форт-Эдварда, где отец и жил вплоть до своей смерти, наступившей в 22-й день месяца ноября 1829 года. Он оставил по себе вдову и двух детей: меня самого и Джозефа –

⁴ Здесь читателю стоит напомнить, что в северных штатах, к которым принадлежит и штат Нью-Йорк, рабство было отменено гораздо раньше, чем на американском Юге, куда потом и угодил герой повествования. – Прим. ред.

моего старшего брата. Последний и сейчас живет в округе Освего, неподалеку от города с тем же названием; мать моя умерла, пока я был в неволе.

Хоть и рожденный рабом и пережив много неблагоприятных обстоятельств, коим подвержена моя несчастливая раса, отец мой был человеком уважаемым за трудолюбие и честность, – что готовы засвидетельствовать многие из ныне живущих, которые хорошо его знали. Вся его жизнь прошла в мирных земледельческих трудах. И он никогда не искал себе более выгодных занятий из тех, что, кажется, специально назначены для выходцев из Африки. Помимо того что он дал нам образование, превосходящее обычные знания, положенные детям нашего общественного положения, отец достиг благодаря своему трудолюбию и бережливости достаточной состоятельности для преодоления имущественного ценза, наделившего его правом голосовать на выборах. У него была привычка рассказывать нам о своей молодости. И хотя он всегда лелеял самые теплые чувства сердечной привязанности и даже любви к семейству хозяина, в чьем доме был невольником, он неплохо разбирался в приемах рабства и с горечью говорил об унижении нашей расы. Он старался внушить нашим умам нравственные чувства и учил нас возлагать свою веру и доверие на Того, Кто заботится обо всех Своих созданиях – и низших, и высших. Как часто с тех пор воспоминание о его отеческих советах являлось мне, когда я лежал в невольничьей хижине в далеких и нездоровых краях Луизианы, испытывая жгучую боль от незаслуженных ран, нанесенных мне рукою бесчеловечного хозяина, и желая лишь, чтобы могила, сокрывшая отца моего, защитила и меня от кнута угнетателя! На церковном кладбище в Сэнди-Хилл скромный надгробный камень отмечает то место, где он почитет, достойно исполнив долг, присущий тому непритязательному кругу, в коем Господь назначил ему обретаться.

Вплоть до того времени я был в основном занят фермерскими трудами вместе с моим отцом. Выдававшиеся мне часы досуга я, как правило, проводил за книгами или за игрой на скрипке – развлечение это было главной страстью моей юности. Оно и впоследствии служило источником утешения, доставлявшим удовольствие простодушным созданиям, с коими свел меня жребий, и на многие часы отвлекало мои собственные мысли от горьких раздумий о моей судьбе.

В день Рождества 1829 года я женился на Энни Хэмптон, цветной девушке, жившей тогда неподалеку от нашей фермы. Церемонию в Форт-Эдварде провел Тимоти Эдди, эсквайр, мировой судья этого городка. (Он по-прежнему видный гражданин Форт-Эдварда.) Будущая жена моя долгое время жила в Сэнди-Хилл у мистера Бэрда, владельца таверны «Орел», а также в семействе преподобного Александра Праудфита из Салема. Сей джентльмен много лет руководил пресвитерианским обществом в Салеме и был почитаем всеми за свою ученость и благочестие. Энни до сих пор с благодарностью вспоминает необычайную доброжелательность и мудрые советы этого доброго человека. О родословной своей она не может сказать ничего определенного, но в ее венах течет кровь трех рас. Трудно сказать, которая из них преобладает – красная, белая или черная. Однако их смешение наделило ее такой необычной, но приятной внешностью, какую нечасто встретишь. Ее нельзя с точностью определить как квартеронку, хоть она и несколько напоминает этот тип – к которому, я еще не упомянул, принадлежала и моя мать.

Я только-только вышел из возраста несовершеннолетия, достигнув двадцати одного года в предшествующем месяце июле. Лишенный отцовского совета и помощи, с супругой, зависевшей от моей поддержки, я решился вступить в жизнь трудового человека. И несмотря на темную кожу и осознание своего низкого положения, я предавался приятным мечтам о грядущих добрых временах, когда обладание каким-нибудь скромным домиком с несколькими акрами прилегающей к нему земли вознаградит мои усилия и принесет мне средства к счастью и успокоению.

Со дня моей свадьбы и по сей день любовь, которую я питаю к жене моей, остается искренней и неугасимой. И лишь тот, кто ощущал пылкую нежность отца, обожающего своих отпрысков, способен понять мою привязанность к детям, которые с тех пор у нас родились. Я считаю подходящим и необходимым сказать это – дабы те, кто читает эти страницы, могли понять всю остроту и горечь страданий, которые мне суждено было вынести.

Сразу же по заключении нашего брака мы принялись вести хозяйство в старинном доме, тогда стоявшем на южной окраине Форт-Эдварда и который с тех пор преобразился в современный особняк, в последнее время занимаемый капитаном Лэтропом. Дом этот известен под названием Форт-Хаус. Некогда, после образования нашего графства, здесь проходили заседания суда. Кроме того, в 1777 году его занимал Бургойн⁵, поскольку дом расположен неподалеку от старой крепости на левом берегу Гудзона.

Зимой я нанялся с другими на работы по восстановлению канала Шамплейн – в той его части, где управляющим был Уильям ван Нортвик. Непосредственным начальником над нами был Дэвид Макикрон. К весне, когда канал открылся, я имел случай, воспользовавшись сбережениями из своего жалованья, купить пару лошадей и другие вещи, необходимые для бизнеса в судоходстве.

Наняв себе в помощь несколько умелых подручных, я подрядился на сплав больших плотов строевого леса из озера Шамплейн в город Трой. В нескольких поездках меня сопровождали Дайер Беквит и некий мистер Бартеми из Уайт-Холла. За тот сезон я вошел во все тонкости искусства и секретов сплава плотов. Эти знания впоследствии дали мне возможность оказать ценную услугу достойному хозяину и вызвать изумление у простодушных лесорубов на берегах Байю-Бёф.

Во время одной из моих поездок по озеру Шамплейн меня склонили к мысли посетить Канаду. Направившись в Монреаль, я повидал кафедральный собор и другие достопримечательности этого города, откуда продолжил свое путешествие в Кингстон и другие города, обретя знания об особенностях этой местности, что тоже впоследствии сослужило мне добрую службу – как читатель узнает ближе к концу моего повествования.

Завершив свои подряды на канале, к вящему удовлетворению моего нанимателя и своему собственному, и не желая оставаться праздным, когда судоходство на канале вновь остановилось, я заключил другой подряд, с Медадом Ганном, на рубку большого массива леса. Этим делом я был занят всю зиму 1831–1832 гг.

К возвращению весны у нас с Энни появился замысел взять внаем какую-нибудь ферму по соседству. Земледельческий труд был знаком мне с ранней юности, и это занятие соответствовало моим вкусам. И я договорился об аренде части старой фермы Олдена, где некогда жил мой отец. С одной коровой, одной свиньей, парой прекрасных волов, которую я незадолго до того приобрел у Льюиса Брауна в Хартфорде, и прочей личной собственностью и пожитками мы перебрались в наш новый дом в Кингсбери. В тот год я засадил кукурузой 25 акров⁶, засеял обширные поля овсом и принялся фермерствовать настолько широко, насколько позволяли мои средства. Энни неустанно занималась домашними делами, в то время как я усердно трудился в поле. В этом месте мы прожили до 1834 года.

Зимой меня не раз звали играть на скрипке. Где бы молодежь ни затеяла танцы, почти неизменно там оказывался я. Во всех окрестных деревнях славилась моя скрипка. Да и Энни за время своего долгого жительствова в таверне «Орел» стала известной местной кухаркой. Во время сессий суда и общественных праздников ее нанимали за высокую плату на кухню в кофейню Шеррилла.

⁵ Джон Бургойн (1730–1792) – английский генерал, главнокомандующий британскими войсками, в 1777 г. в результате сражения при Саратоге сдался республиканским войскам. – Прим. перев.

⁶ 10 гектаров.

Не было случая, чтобы после такой усердной работы мы вернулись домой без денег в карманах. Таким образом, играя на скрипке, стряпая и фермерствуя, мы вскоре оказались обладателями некоторого достатка и, в сущности, вели счастливую и благополучную жизнь. Право, мы только выиграли бы, если бы остались на той ферме в Кингсбери; но пришло время, когда должен был быть сделан следующий шаг навстречу ожидавшей жестокой судьбе.

В марте 1834 года мы перебрались в Саратога-Спрингс и поселились в доме, принадлежавшем Дэниелу О'Брайену, на северной стороне Вашингтон-стрит. В то время Исаак Тейлор держал большой пансион, известный под названием «Вашингтон-Холл», на северном конце Бродвея. Он нанял меня кучером, и в этом качестве я служил ему два года. Потом я, как правило, нанимался на работу на весь гостевой сезон, как и Энни, которая работала в гостинице «Соединенные Штаты» и других подобных заведениях этого города. А зимними вечерами я играл на скрипке, хотя во время строительства железной дороги между Троем и Саратогой немало потрудился и там.

Живя в Саратогге, я завел себе привычку покупать товары, необходимые для моего семейства, в магазинах Цефаса Паркера и Уильяма Перри – к этим джентльменам я питал чувство глубокого уважения за их многочисленные добрые дела. (И потому 12 лет спустя именно им я отправил письмо, включенное ниже в текст этой книги, которое, попав в руки г-на Нортапа, послужило средством к моему счастливому избавлению.)

В гостинице «Соединенные Штаты» я часто встречал рабов, сопровождавших своих хозяев с Юга. Эти невольники всегда были хорошо одеты, не знали ни в чем недостатка и, казалось, вели легкую жизнь, беспокоясь лишь малым числом ее обычных забот. Не раз они вступали со мной в беседу о рабстве. Почти неизменно обнаруживал я, что они лелеяли тайное желание освободиться. **Некоторые из них выражали самое пламенное намерение бежать и советовались со мною, как лучше всего его осуществить.** Однако страх наказания, которое непременно последует за их поимкой и возвращением, в каждом случае оказывался достаточным, чтобы отвадить их от этого эксперимента. Всю свою жизнь дыша свободным воздухом Севера и сознавая, что обладаю теми же чувствами и страстями, которые находят себе пристанище в груди белого человека (более того, сознавая, что обладаю умом, равным уму по крайней мере некоторых людей со светлой кожей) я был слишком несведущ, а может быть, и чересчур независим, чтобы постичь, как кто-то может удовлетворяться жизнью в ужасном положении раба. Я не мог признать справедливости того закона или той религии, которые поддерживают или признают принцип рабства. И ни разу, могу с гордостью сказать, не отказал я в совете ни одному из тех, кто приходил ко мне в надежде увидеть свой шанс и устремиться к свободе.

Я продолжал жить в Саратогге до весны 1841 года. Сладкие ожидания, которые семью годами ранее соблазнили нас уехать из тихого фермерского домика на восточном берегу Гудзона, не осуществились. Мы, хоть и жили в достатке, не особенно преуспели. Общество и знакомства в Саратога-Спрингс – этом всемирно известном водном курорте – не содействовали сохранению прежде свойственных мне простых привычек к трудолюбию и бережливости, а напротив, замещали их иными, тяготеющими к бездеятельности и излишествам.

В то время мы уже были родителями троих детей – Элизабет, Маргарет и Алонсо. Старшей Элизабет шел десятый год. Маргарет была двумя годами младше, а малыш Алонсо только миновал свой пятый день рождения. Дети наполняли наш дом радостью. Их юные голоса звучали музыкой для нашего слуха. Не раз мы с их матерью строили воздушные замки для сих невинных малых. В часы досуга я гулял с ними, одетыми в лучшие одежды, по улицам и рошицам Саратоги. Их присутствие было для меня счастьем; и я прижимал их к своей груди с не менее горячей и нежной любовью, чем если бы их смуглая кожа была белее снега.

До сих пор в истории моей жизни не было совершенно ничего необычного – ничего, кроме земных надежд, и любви, и трудов незаметного чернокожего человека, совершающего

свой скромный путь в этом мире. Но ныне я достиг поворотного момента в своем существовании – достиг порога несказанной несправедливости, и скорби, и отчаяния. Отныне вступаю я в тень тучи, в густую тьму, где вскоре суждено мне было исчезнуть, скрыться от глаз всех моих родных и потерять из виду милый свет свободы – на много томительных лет.

Глава II

Два незнакомца – Цирковая компания – Отъезд из Саратоги – Чревовещание и ловкость рук – Путь в Нью-Йорк – Удостоверение вольного – Браун и Гамильтон – Спешим, чтобы нагнать цирк – Прибытие в Вашингтон – Похороны Харрисона – Внезапный недуг – Муки жажды – Меркнувший свет – Бесчувствие – Цепи и тьма

Однажды утром, ближе к концу месяца марта 1841 года, не имея никаких особых дел, требующих моего внимания, я прогуливался по Саратога-Спрингс, размышляя про себя, где бы найти какую-нибудь временную службу, пока не наступит хлопотливый гостевой сезон. Энни, как обычно, отправилась в Сэнди-Хилл, расположенный примерно в 20 милях, чтобы взять на себя заботы о кухне в кофейне Шеррилла на время сессии суда. Элизабет, как мне помнится, отправилась вместе с матерью. Маргарет и Алонсо гостили у тетки в Саратоге.

На углу Конгресс-стрит и Бродвея, подле таверны, которая принадлежала тогда (и, насколько я знаю, поныне принадлежит) мистеру Муну, меня встретили два джентльмена respectable наружности, совершенно мне неизвестные. Сдается мне, их представил мне кто-то из моих знакомых, но я напрасно пытался припомнить, кто именно... И, представляя нас, он упомянул о том, что я умелый скрипач.

Во всяком случае, они сразу же завели со мною беседу на эту тему, задавая многочисленные вопросы, касавшиеся моего профессионализма в отношении игры на скрипке. По всей видимости, мои ответы их совершенно удовлетворили, и они предложили нанять меня на краткое время на службу, одновременно уверяя, что я – как раз тот человек, который требовался для их дела. Их звали, как они впоследствии сообщили мне, Меррилл Браун и Абрам Гамильтон, хотя у меня есть серьезные причины сомневаться, что то были их истинные имена. Первый был мужчина лет сорока на вид, довольно низкорослый и плотного сложения, с лицом, указывающим на проницательность и интеллект. Он был одет в черный сюртук и черную же шляпу и говорил, кажется, что живет то ли в Рочестере, то ли в Сиракузах. Второй был юноша с бледным лицом и светлыми глазами, он, насколько я мог судить, еще не миновал своего 25-летия. Он был высок и строен, одет в сюртук табачного цвета, блестящий цилиндр и жилет элегантного покроя. Вся его одежда отражала последние веяния моды. Внешность его была несколько женственной, но располагающей, и еще была в нем некоторая непринужденность, которая указывала, что он не чужд светской жизни.

Джентльмены эти были связаны будто бы с некоей цирковой компанией, тогда находившейся в городе Вашингтоне. И направлялись туда, чтобы присоединиться к цирку, с которым ненадолго расставались, чтобы совершить поездку на Север, дабы посмотреть здешние места (и они, дескать, оплачивают свои расходы, временами устраивая представления). Они сказали, что столкнулись с большими трудностями, пытаясь обеспечить музыкальное сопровождение для своих представлений. И если я соглашусь сопровождать их до самого Нью-Йорка, они будут выдавать мне по одному доллару содержания в день и вдобавок по три доллара за каждый вечер, когда я стану играть на представлениях, а кроме того, вручат мне сумму, достаточную для оплаты расходов на возвращение из Нью-Йорка в Саратогу.

Я сразу же принял соблазнительное предложение – не только по причине обещанного вознаграждения, но и из желания побывать в столице. Джентльмены настаивали на том, чтобы отбыть немедленно. Думая, что отсутствие мое будет кратким, я не счел необходимым отписать Энни, куда направляюсь, предполагая, что вернусь, вероятно, к тому же времени, что и она. Итак, взяв с собой смену белья и скрипку, я был готов к отъезду. Прибыл экипаж – крытая карета, запряженная парой благородных гнедых, – зрелище весьма элегантное. Их багаж, состоявший из трех больших сундуков, был увязан на полку. И вот, взгромоздившись на козлы, в то время как джентльмены заняли свои места позади, я отбыл из Саратоги по направле-

нию к Олбани, воодушевленный своим новым положением и радостный, каким и был всегда, в любой день своей жизни.

Мы миновали Боллстон и, достигнув дороги Ридж-роуд (кажется, так ее называют), последовали по ней прямо к Олбани. Мы прибыли в этот город до наступления темноты и остановились в гостинице к югу от музея.

В тот вечер я имел возможность наблюдать одно из их представлений – и единственное за все то время, которое провел с ними. Гамильтон стоял на входе; я изображал оркестр, а Браун обеспечивал само развлечение. Оно состояло в жонглировании шарами, танцах на канате, поджаривании блинчиков в шляпе, взвизгивании невидимых поросят и тому подобных трюках чревовещания и ловкости рук. Зрителей было – раз, два и обчелся, да и те не самого избранного толка, а отчет Гамильтона о собранной выручке представил лишь «нищенский набор пустых коробок»⁷.

Следующим утром мы спозаранку возобновили свое путешествие. Главной темой беседы моих спутников было выражение страстного желания как можно скорее добраться до цирка. Они спешили вперед, более не останавливаясь ради представлений, и в должное время мы достигли Нью-Йорка, сняв комнаты в доме на западной стороне города, на улочке, сбегавшей от Бродвея к реке. Я полагал, что на этом мое путешествие и кончено, и ожидал, что через день, самое большее через два вернусь к своим друзьям и семейству в Саратоге. Однако Браун и Гамильтон принялись уговаривать меня продолжить вместе с ними путь до Вашингтона. Они утверждали, что теперь, когда приближается летний сезон, сразу же по их прибытии цирк отправится на север. Они обещали мне жилье и высокую оплату, если я стану их сопровождать. Многословно распространялись они о преимуществах, которые это принесет мне, и рассказы их были столь лестного толка, что я наконец согласился принять предложение.

На следующее утро они высказали предположение, что, поскольку мы вот-вот въедем в рабовладельческий штат, было бы хорошо перед отъездом из Нью-Йорка запастись бумагами, удостоверяющими мое вольное положение. Эта мысль показалась мне благоразумной, и такое едва ли пришло бы мне в голову, если бы они не предложили. Мы сразу же отправились, как я понял, в таможенное управление. Они принесли присягу относительно определенных фактов, показывающих, что я – свободный человек. Удостоверение было выписано и вручено нам вместе с указанием отнести его в контору чиновника. Мы так и сделали, и чиновник внес в него некое дополнение, за что ему было уплачено шесть шиллингов, а затем мы вернулись снова в таможенное управление. Прежде чем дело было сделано, пришлось пройти еще кое-какие формальности. Затем, уплатив офицеру два доллара, я уложил бумаги в карман и отправился вместе с моими двумя друзьями в нашу гостиницу. Должен признаться, в то время я думал, что бумаги эти едва ли стоят тех денег, которые мы за них уплатили, – **ни малейшего предчувствия угрозы моему личному благополучию у меня не возникало ни на секунду.** Помнится мне, что чиновник, к которому нас направили, сделал служебную запись в большой книге, которая, я полагаю, по-прежнему находится в той же конторе. Обращение к записям, сделанным в самом конце марта или 1 апреля 1841 года, не сомневаюсь, удовлетворит недозверчивых, – по крайней мере, в той части, которая касается этого конкретного дела.

Теперь, обладая доказательством моей свободы, на следующий день после нашего прибытия в Нью-Йорк мы переправились на пароме в город Джерси и тронулись в путь дорогой на Филадельфию. Здесь мы заночевали, продолжив рано утром наше путешествие на Балтимор. В должное время мы прибыли в этот город и остановились там в гостинице подле железнодорожного депо, которую то ли держал некий мистер Рэтбоун, то ли называлась «Рэтбоун-Хаус». Вся дорогу после Нью-Йорка стремление моих спутников добраться до цирка, казалось, более и более усиливалось. Мы оставили экипаж в Балтиморе и, сев в поезд, проследовали в Вашинг-

⁷ У. Шекспир, «Ромео и Джульетта», акт V, сцена I. – Прим. перев.

тон, куда прибыли прямо перед наступлением ночи, в канун похорон генерала Харрисона⁸, и остановились в гостинице Гэдсби на Пенсильвания-авеню.

После ужина они позвали меня в свои апартаменты и уплатили мне 43 доллара, сумму ббльшую, чем должно было составлять мое жалованье. Сей акт щедрости они объяснили тем, что на протяжении нашей поездки из Саратоги выступали мы куда реже, чем дали мне повод ожидать. Затем они сообщили мне, что цирковая компания намеревалась отбыть из Вашингтона следующим утром, но из-за похорон было решено остаться в городе еще на один день. В тот вечер, как и все время с нашей первой встречи, они были крайне добры. Они не упускали ни одной возможности обратиться ко мне с одобрительными речами; и я проникся к ним чрезвычайным расположением. Я ничуть не сомневался в них и добровольно доверился бы им едва ли не в чем угодно. Их всегдашние разговоры и манера держаться со мной – их предусмотрительность, выразившаяся в идее о документе, удостоверяющем мою свободу, и сотня других мелких любезностей, которые нет нужды здесь излагать, – все это указывало на то, что они действительно мои друзья, искренне заботящиеся о моем благополучии. Иначе как друзьями я их и не считал. Мне трудно поверить, что они были повинны в том великом злодеянии, в котором я ныне полагаю их виновными. Были ли они соучастниками моих несчастий – коварными и бесчеловечными чудовищами в облике людском, – ради золота преднамеренно сманившими меня прочь от дома и семьи, от свободы? У того, кто читает эти страницы, будет ровно такая же возможность определить, как и у меня самого. Если они были неповинны, то мое внезапное исчезновение, должно быть, действительно было для них необъяснимым. Однако, серьезно размышляя обо всех сопутствующих обстоятельствах, я еще ни разу не смог составить в их пользу столь благое предположение.

После того как я получил от них деньги, которые у них, казалось, водились в изобилии, они посоветовали мне не выходить на улицы этим вечером, тем более что обычаи этого города не были мне знакомы. Пообещав принять их совет к сведению, я оставил их вдвоем, и вскоре темнокожий слуга проводил меня в спальню в задней части гостиницы, на первом этаже. Я улегся отдыхать, думая о доме и жене, о своих детях и о дальнем расстоянии, что пролегло между нами, и так думал, пока не уснул. Но добрый милосердный ангел не явился к моему ложу, умоляя меня бежать, – глас милосердия не предостерег меня в моих сновидениях об испытаниях, которые были уже на пороге.

На следующий день Вашингтон был свидетелем пышного зрелища. Воздух был наполнен ревом пушек и звоном колоколов, многие дома были завешены черным крепом, а улицы заполнены людьми, облаченными в траур. С наступлением дня показалась процессия, медленно двигавшаяся по авеню длинной вереницей, экипаж за экипажем, а тысячи и тысячи людей следовали за нею пешком – и все двигалось в такт траурной музыке. Они сопровождали мертвое тело Харрисона к могиле.

С раннего утра Гамильтон и Браун не отходили от меня ни на миг. Они были единственными людьми, которых я знал в Вашингтоне. Мы стояли вместе, пока похоронная процессия шла мимо. Я отчетливо помню, как лопалось и сыпалось со звоном на землю оконное стекло после каждого выстрела пушки, из которой палили на кладбище. Мы отправились к Капитолию и долго гуляли в его окрестностях. В полдень спутники мои устремились к дому президента, неотступно удерживая меня рядом с собою и указывая на разнообразные достопримечательности. До сей поры я не видел ничего похожего на цирк. В сущности, я почти и не думал о нем среди треволнений того дня.

В тот день друзья мои несколько раз заходили в питейные заведения и требовали себе выпивку. Однако насколько я их успел узнать, прежде они не имели привычки чрезмерно изли-

⁸ Уильям Генри Харрисон (или Гаррисон, 1773–1841) – американский военачальник, политик и девятый президент Соединенных Штатов (с 4 марта по 4 апреля 1841 г.).

шествовать. В эти моменты, позаботившись о себе, они потом наливали стаканчик и угощали меня. Я не опьянел – хотя так можно было бы подумать, судя по тому, что произошло впоследствии.

Ближе к вечеру, вскоре после принятия одного из таких подношений, у меня появились чрезвычайно неприятные ощущения. Я почувствовал себя совсем худо. У меня начала болеть голова – тупой, тяжелой болью, невыразимо неприятной. За ужином я сел к столу без аппетита; вид и запах пищи вызывали у меня тошноту. После наступления сумерек все тот же слуга сопровождал меня в комнату, которую я занимал накануне ночью. Браун и Гамильтон посоветовали мне отдохнуть, сочувствуя мне со всей возможной добротой и выражая надежду, что к утру я оправлюсь. Едва избавившись от пальто и сапог, я рухнул на постель. Заснуть было невозможно. **Боль в голове продолжала нарастать, пока не сделалась почти невыносимой.** В скором времени меня начала мучить жажда. Губы мои пересохли. Я не мог думать ни о чем, кроме воды – об озерах и текущих реках, о ручьях, к которым я наклонялся, чтобы попить, и о мокрых ведрах, поднимающихся вместе со своим прохладным и переливающимся через край сладостным нектаром из глубины колодца. Ближе к полуночи, насколько я могу судить о времени, я поднялся, будучи не в силах больше выносить столь сильную жажду. В этом доме я был чужим и не знал ничего о его расположении. Насколько я мог понять, все уже спали. Обшаривая наудачу один коридор за другим, сам не знаю как, но я все же добрался до кухни на первом этаже. Двое или трое цветных слуг сутились в ней, и одна из них дала мне два стакана воды. Вода на некоторое время облегчила мои мучения, но к тому времени, как я снова добрался до своей комнаты, все то же жгучее желание пить, все та же мучительная жажда снова вернулась. Она стала даже еще более неистовой, чем прежде, как и безумная боль в голове, – если такое вообще возможно. Я метался в горьких мучениях – в совершенно нестерпимых страданиях. Казалось, я стоял на грани сумасшествия. Память об этой ночи и ее чудовищных мучениях не покинет меня до могилы.

Через час или около того после моего возвращения из кухни я почувствовал, что кто-то вошел в мою комнату. Людей, похоже, было несколько (до меня доносился смешанный ропот голосов), но сколько их было и кто они были, я не могу сказать. Были ли среди них Браун и Гамильтон – остается только догадываться. Могу лишь припомнить с некоторой степенью ясности, как мне было сказано, что надо пойти к врачу и принять лекарство, и как, натянув сапоги, не взяв ни пальто, ни шляпу, я последовал за ними по длинному коридору или проходу меж домов на открытую улицу. Улица шла под прямым углом от Пенсильвания-авеню. На противоположной стороне в одном из окошек горел свет. Сдается мне, что тогда со мною было три человека, но утверждать этого определенно я никак не могу – настолько все туманно и похоже на воспоминание о болезненном сне. Путь к этому свету, который, как я воображал, горел в кабинете доктора и словно бы угасал по мере моего приближения, – последнее тусклое воспоминание, которое я ныне способен пробудить в памяти. С этого мгновения я лишился чувств. Долго ли я оставался в этом состоянии – только в ту ночь или много ночей и дней подряд – не знаю; но, когда сознание ко мне вернулось, я оказался в одиночестве, в полной темноте и в цепях.

Головная боль до некоторой степени утихла, но я был крайне слаб и чувствовал дурноту. Я сидел на низкой скамье, сколоченной из грубых досок, без пальто и без шляпы. На руках у меня были наручники. Лодыжки мои тоже были закованы в тяжелые кандалы. Один конец цепи был прикреплен к большому кольцу, вделанному в пол, другой – к кандалам на ногах. Напрасно пытался я подняться на ноги. Очнувшись от столь болезненного транса, я не сразу сумел собраться с мыслями. **Где я? Что означают эти цепи?** Где Браун и Гамильтон? Что сделал я такого, чтобы заслужить заключение в таком подземелье? Я не мог понять.

Была какая-то пауза неопределенной продолжительности, предшествовавшая моему пробуждению в этом безлюдном месте, событий которой я никак не мог припомнить, сколько

бы ни напрягал свою память. Я усиленно прислушивался, надеясь уловить какой-либо признак или звук жизни, но ничто не нарушало гнетущего молчания, кроме звяканья моих цепей, раздававшегося всякий раз, когда я случайно шевелился. Я заговорил было вслух, но самый звук моего голоса испугал меня. Я ощупал свои карманы, насколько позволяли кандалы. Однако этого хватило, чтобы удостовериться, что меня не только лишили свободы, но и все мои деньги и бумаги, удостоверяющие, что я свободный человек, тоже исчезли. Тогда-то у меня в голове начала складываться мысль, поначалу смутная и спутанная, что меня похитили. Но я отринул ее как невероятную. Должно быть, случилось какое-то недопонимание – какая-то злосчастная ошибка. Не может быть такого, чтобы со свободным гражданином штата Нью-Йорк, который не причинил зла ни одному человеку, не нарушил ни одного закона, могли обращаться настолько бесчеловечно. Однако чем более я размышлял о своем положении, тем тверже укреплялся в подозрениях. Право, то была безрадостная мысль. Я чувствовал, что в бессердечных людях нет ни веры, ни милосердия, – и, препоручив себя Богу всех угнетенных, опустил голову на скованные цепями руки и горько заплакал.

Глава III

Неприятные размышления – Джеймс Берч – Невольничий загон Уильямса в Вашингтоне – Заявляю о моей свободе – Гнев работорговца – Паддл и «кошка-девятихвостка» – Жестокое избиение – Новые знакомые – Рэй, Уильямс и Рэндалл – Появление в загоне малышки Эмили и ее матери – Материнские печали – История Элизы

Миновало около трех часов. Все это время я просидел на низкой скамье, погруженный в печальные размышления. Через некоторое время я услышал крик петуха, а вскоре за ним – отдаленный грохот, словно от спешивших по улицам экипажей, и понял, что наступил день. Однако ни единый луч света не проникал в мою темницу. Наконец прямо над моей головой раздались шаги, точно кто-то расхаживал там взад-вперед. Мне пришло в голову, что я, должно быть, нахожусь в подземной камере, и влажные, затхлые запахи этого места подтвердили мое предположение. Шум наверху продолжался по меньшей мере час, а потом наконец я услышал шаги, приближавшиеся снаружи. Ключ загремел в замке – крепкая дверь распахнулась на своих петлях, впустив целый водопад света, и двое мужчин вошли и встали передо мною.

Один из них был крупный, мощный здоровяк лет примерно сорока, с темными каштановыми волосами, слегка побитыми сединой. Лицо его было полным, щеки – румяными, черты отличались необыкновенною грубостью и не выражали ничего, кроме жестокости и жадности. Ростом он был около пяти футов десяти дюймов⁹, плотного телосложения. И, да позволено мне будет сказать без всякой предвзятости: всей своей внешностью он производил впечатление угрожающее и отталкивающее. Как я узнал впоследствии, звали его Джеймсом Г. Берчем – он был известным работорговцем в Вашингтоне. В ту пору в своих делах он был связан с партнером, Теофилусом Фриманом из Нового Орлеана. Человек, сопровождавший его, был простой лакей по имени Эбинизер Рэдберн, он служил всего лишь тюремщиком. Оба эти человека по-прежнему живут в Вашингтоне (по крайней мере, жили в то время, когда я возвращался через этот город из неволи в прошлом январе).

Свет, вливавшийся через открытую дверь, дал мне возможность окинуть взглядом помещение, в котором я был заключен. Это была квадратная комната со стороной около 12 футов¹⁰ – со стенами из прочной кирпичной кладки. Пол был сложен из грубых досок. Единственное маленькое окошко, перечеркнутое крест-накрест прочной железной решеткой, было наглухо заперто наружной ставней.

Окованная железом дверь вела в соседнюю камеру, или погреб, полностью лишенный окон и любого другого средства освещения. Обстановка комнаты, где я находился, состояла из деревянной скамьи, на которой я сидел, и старомодной грязной дровяной плиты. И кроме этого, ни в одной из камер не было ни постели, ни одеяла, ни какого-либо другого предмета. Дверь, через которую вошли Берч и Рэдберн, вела в короткий коридор, упиравшийся в пролет лестницы, поднимавшейся во двор, окруженный кирпичной стеною 10–12 футов¹¹ в высоту, стоявшей сразу позади здания той же ширины, что и она сама. Двор простирался назад от дома футов на тридцать¹². В одной части стены имелась надежно окованная железом дверь в узкий крытый переход, ведущий вдоль одной стены дома на улицу. Судьба цветного, за которым закрывалась эта дверь, была решена. Верхняя часть стены поддерживала один конец поднимавшейся внутрь крыши, образующей нечто вроде навеса. Под этой крышей был жалкий

⁹ 175 см.

¹⁰ 3 м 65 см.

¹¹ 3–3,65 м.

¹² 9 м.

сеновал, где рабы могли спать ночью или укрываться в непогоду. Он был почти во всем подобен фермерскому скотному двору, за одним исключением: выстроен он был таким образом, чтобы внешний мир никогда не видел загнанного туда человеческого скота.

Здание, к которому примыкал двор, имело два этажа и выходило на одну из главных улиц Вашингтона. С внешней стороны оно выглядело как тихая частная резиденция. Прохожий, взглянув на него, ни за что не догадался бы о его отвратительном применении. Как ни странно, из этого здания был хорошо виден Капитолий, озиравший окрестности с высоты своего роста. Голоса представителей народа, похваляющегося свободой и равенством, и лязганье цепей несчастных рабов почти смешивались там. Подумать только – невольничий загон под самой сенью Капитолия!

Таково точное описание невольничьего загона Уильямса в Вашингтоне, каким он был в 1841 году и в одном из подвалов которого я обнаружил себя столь необъяснимо заключенным.

– Ну, мой мальчик, как ты теперь себя чувствуешь? – спросил Берч, входя сквозь открытую дверь. Я ответил, что худо, и осведомился о причине моего заключения. **Он сказал, что я – его раб, что он купил меня и собирается отослать в Новый Орлеан.** Я принялся уверять его, громко и смело, что я свободный человек – житель Саратоги, где у меня есть жена и дети, которые тоже свободные люди, и что я ношу фамилию Нортап. Я горько жаловался на странное обращение, с которым меня здесь приняли, и грозился по своему освобождению потребовать с него удовлетворение за нанесенный ущерб. Он отрицал, что я вольный, и, ругаясь на чем свет стоит, объявил, что я будто бы родом из Джорджии. Вновь и вновь твердил я, что никому не раб, и настаивал, чтобы он немедленно снял с меня цепи. Он пытался утихомирить меня, словно боялся, что кто-то нас подслушает. Но я не желал умолкать и объявил виновников моего пленения, кто бы они ни были, отъявленными злодеями. Обнаружив, что успокоить меня не удастся, он все больше и больше разъярялся. С богохульными проклятиями он обзывал меня черномазым лжецом, беглым из Джорджии, и всеми прочими низкими и вульгарными эпитетами, какие только могла бы себе представить самая недостойная фантазия.

В течение всего этого времени Рэдберн молча стоял рядом. Его делом было надзирать за этим человеческим – или, скорее, бесчеловечным – хлевом, принимать рабов, кормить и сечь их – за плату в два шиллинга с головы в день. Развернувшись к нему, Берч велел принести паддл¹³ и «кошку-девятихвостку». Рэдберн исчез за дверью и через несколько мгновений возвратился с этими инструментами пытки. Паддл – как он именуется на жаргоне тех, кто бьет рабов – по крайней мере тот, с которым я впервые познакомился и о котором ныне говорю, представлял собою кусок твердой доски, около 18 или 20 дюймов¹⁴ в длину, вырезанный в форме старомодного загнутого шеста или обычного весла. Плоская его часть, которая в окружности составляла примерно две раскрытые ладони, была в нескольких местах просверлена буравчиком. Упомянутая «кошка» оказалась толстой веревкой из множества прядей – пряди были расплетены, и на конце каждой завязан узел.

Как только явились эти чудовищные орудия наказания, они вдвоем схватили меня и грубо избавили от одежды. Ноги мои, как я уже говорил, были привязаны к полу. Перегнув меня через скамью лицом вниз, Рэдберн придавил своей тяжелой стопой цепь наручников между моими руками, старательно пригвоздив их к полу. Вооружившись паддлом, Берч принялся бить меня. Удары один за другим сыпались на мое обнаженное тело. Когда его безжалостная рука устала, он остановился и осведомился, по-прежнему ли я настаиваю на том, что я свободный человек. Я продолжал настаивать, и тогда удары возобновились, еще быстрее и энергичнее, чем прежде, насколько это возможно. Опять утомившись, Берч повторил тот же

¹³ Деревянная лопатка в форме короткого весла, применявшаяся для телесных наказаний.

¹⁴ 50 см.

самый вопрос – и, получив тот же ответ, продолжил свой жестокий труд. Все время избияния этот воплощенный дьявол изрыгал самые демонические проклятия. **Под конец паддл переломился, оставив в его руке бесполезную рукоять. Но я по-прежнему не сдавался.** Эти жестокие удары не помогли исторгнуть из моих уст гнусную ложь о том, что я раб. Берч в бешенстве швырнул на пол рукоять сломанного паддла и схватился за плеть. Это второе орудие причиняло куда более сильную боль. Я изо всех сил пытался вырваться, но напрасно. Я умолял о милосердии, но в ответ на мои мольбы сыпались лишь проклятия и новые удары. Я уж думал, что умру под плетью этого зверя. Даже сейчас плоть будто норовит слезть с моих костей, когда я вспоминаю ту сцену. Я весь горел. Такие страдания я не могу сравнить ни с чем, кроме жгучих мучений преисподней.

Под конец я умолк и перестал отвечать на его повторявшиеся вопросы. Я не хотел отвечать. В сущности, я был уже неспособен говорить. А он продолжал безжалостно охаживать плетью мое несчастное тело, пока мне не стало казаться, что израненная плоть отрывается от костей при каждом ударе. Человек, у которого есть хоть капля милосердия в душе, не стал бы так бить даже собаку. Спустя некоторое время Рэдберн заметил, что бесполезно продолжать меня сечь – я, мол, и так буду весь в синяках. После этого Берч прекратил свое занятие. Напоследок, угрожающе взмахнув кулаком перед моим лицом и с шипением выдавливая слова сквозь плотно стиснутые зубы, он изрек, что если я еще хоть раз посмею заикнуться, будто имею право на свободу, что меня похитили или нечто в этом роде, то нынешнее наказание покажется мне ничем в сравнении с тем, что последует тогда. Он поклялся, что либо подчинит меня, либо убьет. С этими утешительными словами с меня сняли наручники, но ноги оставались по-прежнему прикованными к кольцу. Ставень на зарешеченном окошке, который было откинули, вернули на место, и, когда они вышли, заперев за собою массивную дверь, я остался в полной темноте, как и прежде.



Сцена в невольничьем загоне в Вашингтоне

Спустя час или, может быть, два сердце мое затрепетало в груди, когда в двери снова заскрежетал ключ. Я, которому было так одиноко, который так пламенно жаждал увидеть хоть кого-нибудь, неважно кого, теперь содрогался при мысли о приближении человека. Человеческое лицо внушало мне страх, особенно лицо белого. Вошел Рэдберн. Он держал оловянную тарелку с куском ссохшейся жареной свинины и ломтем хлеба и чашку воды. Он спросил, как я себя чувствую, и отметил вслух, что я получил довольно суровую порку. Он принялся увещевать меня – мол, глупо упорствовать, что я будто бы вольный. В покровительственной и доверительной манере он намекал: чем меньше я буду говорить об этом, тем для меня же лучше. Рэдберн явно пытался казаться добрым: то ли его тронуло зрелище моего печального состоя-

ния, то ли он стремился удержать меня от дальнейших заявлений о моих правах – сейчас уже нет нужды это домысливать. Он снял кандалы с моих щиколоток, распахнул ставни на окошке и ушел, вновь оставив меня одного.

К тому времени все тело у меня занемело и ныло от боли; его сплошь покрывали волдыри, и двигаться я мог лишь с великими трудностями. Из оконца не было видно ничего, кроме крыши, опиравшейся на прилегающую стену. Ночью я улегся на влажный, твердый пол, не имея ни подушки, ни какого бы то ни было одеяла. Рэдберн пунктуально приходил дважды в день со свининой, хлебом и водой. Аппетита у меня не было почти никакого, хотя жажда мучила постоянно. Раны мои не позволяли мне оставаться в одном положении больше нескольких минут; и так – то сидя, то стоя, то медленно бродя по кругу – проводил я дни и ночи. Я изболелся душою и пал духом. Мысли о семье моей, о жене и детях непрестанно занимали мой разум. Когда сон одолевал меня, я грезил о них. Мне снилось, что я снова в Саратогге, что я вижу их лица и слышу голоса, зовущие меня. Пробудившись от приятных фантазий сна к горькой окружающей реальности, я мог лишь стенать и рыдать. И все же дух мой не был сломлен. Я наслаждался предвкушением побега – и намеревался совершить его как можно скорее. Невозможно, полагал я, что люди могут быть настолько несправедливы, чтобы держать меня рабом, когда им станет известна правда обо мне. Берч, убедившись, что я не беглый из Джорджии, наверняка меня отпустит. И хотя подозрения насчет Брауна и Гамильтона порой посещали меня, я не мог примириться с мыслью о том, что они послужили сообщниками моего заключения. Наверняка они станут меня искать – они вызволят меня из неволи... Увы. Я не знал тогда всей меры «бесчеловечности человека к человеку»¹⁵, как не знал и того, до каких пределов безнравственности люди готовы пойти ради наживы.

Спустя несколько дней внешняя дверь распахнулась, даровав мне свободу выйти во двор. Там я обнаружил троих рабов – один из них был десятилетним мальчишкой, двое других – молодые люди лет двадцати и двадцати пяти. Вскоре я свел с ними знакомство и узнал их имена и подробности их историй.

Старший из них был чернокожий по имени Клеменс Рэй. Он жил в Вашингтоне и долго работал извозчиком. Рэй был весьма умен и прекрасно осознавал свое положение. Мысль об отправке на Юг наполняла его печалью. Берч купил его несколькими днями ранее и поместил сюда до времени, когда будет готов отправить партию рабов на новоорлеанский рынок. От него я впервые узнал, что нахожусь в невольничьем загоне Уильямса, о котором никогда прежде не слышал. Рэй описал мне его назначение. Я пересказал ему подробности моей несчастливой истории, но в утешение он мог лишь посочувствовать мне. Он также дал мне совет отныне и впредь помалкивать о своей свободе, ибо, зная характер Берча, уверял меня, что за этим последует лишь новая порка.

Раба помоложе звали Джоном Уильямсом. Он вырос в Виргинии, недалеко от Вашингтона. Берч забрал его в уплату долга, и Джон неустанно лелеял надежду, что хозяин вызволит его – и надежда эта впоследствии оправдалась. Самый младший был проказливым мальчиком и отзывался на имя Рэндалл. Большую часть времени он играл во дворе, но временами горько плакал и звал свою мать, спрашивал, когда же она придет. Казалось, отсутствие матери было величайшей и единственной печалью его детского сердечка. Он был слишком юн, чтобы осознавать свое положение, и, когда воспоминания о матери улетучивались из его разума, он развлекал нас своими забавными выходками.

По ночам Рэй, Уильямс и мальчик спали в сене под навесом, а меня запирали в подвал. Под конец каждому из нас выдали по одеялу, весьма схожему с лошадиной попоной, – единственная постель, которая была мне дозволена в ближайшие двенадцать лет. Рэй и Уильямс наперебой расспрашивали меня о Нью-Йорке – как там обращаются с цветными; правда ли, что

¹⁵ Фраза из стихотворения Роберта Бернса «Человек был создан для печали. Траурная песнь». – Прим. перев.

они могут заводить собственные дома и семьи и никто их не тревожит и не угнетает; особенно Рэй то и дело вздыхал по свободе. Мы, однако, воздерживались от подобных разговоров, когда их мог услышать Берч или тюремщик Рэдберн. Такого рода стремления неминуемо навлекли бы плеть на наши спины.

Дабы представить полную и правдивую картину главных событий в истории моей жизни и описать институт рабства таким, каким я его знал и видел, в этом повествовании надо говорить о хорошо известных местах и о людях, которые еще живы. Но я и тогда не был знаком с Вашингтоном и его окрестностями, не знаком с ними и поныне. И, кроме Берча и Рэдберна, ни одного человека я там не знал, разве что слышал о ком-то из уст моих порабощенных товарищей. Таким образом, если то, что я собираюсь сказать, неправда, это может быть с легкостью опровергнуто.

Я пробыл в невольничьем загоне Уильямса около двух недель. Вечером накануне моего отбытия туда привели женщину, которая горько плакала и вела за руку маленькую девочку. Это оказались мать и сводная сестра Рэндалла. Увидев их, он преисполнился радости, цеплялся за материнское платье, целовал сестру и выражал все возможные признаки восторга. Мать тоже заключала его в объятия, нежно обнимала и любовно глядела на него сквозь слезы, называя его множеством нежных имен.

Эмили, его сестра, была семи или восьми лет от роду, светлокожая, с личиком удивительной красоты. Волосы ее ниспадали кудряшками вокруг шеи, а фасон и богатство ее платья, равно как и аккуратность всей ее внешности, указывали, что она воспитывалась в достатке. Воистину, она была славным ребенком. Женщина тоже была одета в шелка, пальцы ее унизывали перстни, а в ушах покачивались золотые серьги. Ее повадка и манеры, правильность и достоинство ее речи – **все это с очевидностью указывало, что она была выше уровня обычной рабыни.** Казалось, она сама изумлялась тому, что оказалась в таком месте, как это. Ее явно привел сюда внезапный и неожиданный поворот судьбы. Ее, наполнявшую воздух жалобными стенаниями, вместе с детьми и мной загнали в подвал. Человеческий язык в состоянии передать лишь бледное подобие тех причитаний, которые непрерывно сыпались из ее уст. Бросившись на пол и заключив детей в объятия, она изливала свою печаль такими трогательными словами, какие могут измыслить лишь материнская любовь и доброта. Дети жались поближе к ней, словно только там, в ее объятиях, могли обрести защиту или безопасность. Под конец они уснули, положив головки ей на колени. Пока они дремали, она разглаживала их волосы, откидывая их с маленьких лобиков, и разговаривала с ними всю ночь. Она называла их своими милыми – своими сладкими малышами – бедными невинными созданиями, не ведавшими о том, какие несчастья им суждено сносить. Вскоре у них не будет матери, чтобы утешить их, – их у нее заберут. Что с ними станет? О, она не сможет жить вдали от своей маленькой Эмми и своего дорогого мальчика. Они всегда были хорошими детьми, и такими любящими. Это разобьет ей сердце, Господь свидетель, говорила она, если их у нее заберут. И все же она знала, что ее и детей собираются продать – и, возможно, разлучат, и они больше никогда не увидят друг друга. Даже самое каменное сердце растаяло бы, услышав жалостные выражения этой отчаявшейся и обезумевшей от горя матери. Ее имя было Элиза. И вот история ее жизни, как она впоследствии ее рассказывала.

Она была рабыней и наложницей Элиши Берри, богача, жившего в окрестностях Вашингтона. Кажется, она говорила, что родилась на его плантации. Много лет назад лет он впал в распущенность и поссорился со своей женой. В сущности, вскоре после того, как у Элизы родился Рэндалл, Элиша расстался со своей женой. Оставив жену и дочь в старом доме, где они всегда жили, он построил неподалеку от него, в поместье, новый. В этот дом он взял Элизу. **И она, и ее дети должны были быть освобождены при условии, что она станет с ним жить.** Там она прожила вместе с Берри девять лет, о ней заботились слуги, и она была обеспечена всеми удобствами и роскошествами жизни. Малышка Эмили была его дочерью. Наконец,

молодая госпожа, дочь Берри, которая так и жила со своей матерью в поместье, вышла замуж за некоего Джейкоба Брукса. Со временем по какой-то неподвластной Берри причине (насколько я понял из рассказа Элизы) произошло разделение его собственности. Элиза и ее дети попали в долю мистера Брукса. За те девять лет, что она прожила с Берри, Элиза с детьми стала предметом ненависти и неприязни миссис Берри и его дочери. Самого Берри она описывала как человека от природы добродушного, который всегда обещал ей, что даст ей свободу, и который, она не сомневалась, так бы и поступил, будь это в его власти. Как только Элиза с детьми поступила во владение и распоряжение дочери Берри, стало совершенно ясно, что вместе они не уживутся. Казалось, самый вид Элизы был нестерпим для миссис Брукс; так же точно не могла она смотреть и на девочку, которая была ей сводной сестрой, да еще и такой красавицей.

Утром того дня, когда Элизу привели в загон, Брукс привез ее из поместья в город под тем предлогом, что настало время выправить ей вольную, во исполнение обещания ее хозяина. Воодушевленная ожиданиями немедленного освобождения, она оделась сама и одела маленькую Эмми в лучшее платье и отправилась вместе с ним с радостным сердцем. По прибытии в город, вместо того чтобы вступить в семью свободных людей, она была доставлена к работнику Берчу. Оформленная бумага оказалась не вольной, а купчей. Надежды многих лет испарились в одно мгновение. С высот экстаического счастья она низошла в тот день в самые глубокие бездны несчастья. Неудивительно, что она плакала и наполняла темницу рыданиями и выражениями горя, от которых разрывалось сердце.

Элиза уж мертва. Далеко вверх по Ред-Ривер, где река лениво струит свои воды среди нездоровых низменностей Луизианы, покоится она наконец в могиле – единственном месте, где может отдохнуть бедный раб. Как оправдались все ее страхи, как, она скорбела день и ночь и ни разу не утешилась, как по ее же собственному предсказанию, воистину разбилось ее сердце под бременем материнской скорби – читатель увидит из продолжения рассказа.

Глава IV

Печали Элизы – Приготовления к отбытию – Прогон по улицам Вашингтона – Да здравствует свободная Колумбия! – Гробница Вашингтона – Клем Рэй – Завтрак на пароходе – Счастливые птицы – Аквиа-Крик – Фредериксбург – Прибытие в Ричмонд – Гудин и его невольничий загон – Роберт из Цинциннати – Дэвид и его жена – Мэри и Лети – Возвращение Клема – Его последующий побег в Канаду – Бриг «Орлеан» – Джеймс Г. Берч

В ту первую ночь заключения Элизы в загоне она временами горько жаловалась на Джейкоба Брукса, мужа своей молодой хозяйки. Она объявила, что, если бы догадалась о том обмане, который он против нее задумал, он бы ни за что не привез ее сюда живой. Они воспользовались возможностью выманить ее из дома, когда господина Берри не было на плантации. Тот всегда был добр к ней. Хотелось бы ей еще разок повидаться с ним; но она знала, что теперь даже он не способен спасти ее. И тогда она снова принялась рыдать – целуя спящих детей – заговаривая сперва с одним, потом с другой, а они лежали в своей бессознательной дремоте, положив головы к ней на колени. Так прошла эта долгая ночь. Потом забрезжило утро, и потом, когда снова наступила ночь, продолжала она скорбеть, и ничто не могло ее утешить.

Около следующей полуночи дверь камеры отворилась, и вошли Берч и Рэдберн с фонарями в руках. Берч, сопроводив свои слова ругательством, приказал нам немедленно скатать наши одеяла и готовиться к посадке на борт парохода. Он поклялся, что здесь нас и бросит, если мы не пошевелимся. Он грубо тряс детей, пробуждая их ото сна и приговаривая, что они засони проклятые. Выйдя во двор, Берч позвал Клема Рэя, приказав ему покинуть навес и прийти в подвал, принеся с собой одеяло. Когда Клем явился, он поставил его рядом со мной и сковал нас вместе наручниками – сцепив мою левую руку с его правой. Джона Уильямса забрали за день или два до того, поскольку хозяин, к вящему удовольствию Джона, вызволил его. Нам с Клемом было велено идти вперед, Элиза и дети последовали за нами. Нас вывели во двор, оттуда – в крытый коридор, вверх по лестнице через боковую дверь в верхнее помещение, где в свой первый день неволи я слышал шаги. Обстановка его состояла из плиты, нескольких старых кресел и длинного стола, покрытого бумагами. То была комнатка с белеными стенами, без ковра на полу, напоминавшая нечто вроде кабинета. Помнится мне, возле одного из окон висела ржавая шпага, которая привлекла мое внимание. Там же стоял сундук Берча. Повинуясь его приказу, я взялся за одну ручку сундука нескованной рукой, а он взялся за другую, и мы прошли через переднюю дверь на улицу тем же порядком, которым покинули подвал.

Стояла темная ночь. Все было тихо. Я видел то ли огни, то ли их отражения в стороне Пенсильвания-авеню, но никого, даже случайного прохожего, не было видно. Я почти решился было попытаться бежать. Не будь я прикован наручниками, эта попытка непременно осуществилась бы, к каким бы последствиям она ни привела. Рэдберн шел сзади, неся в руке большую палку, и поторапливал детей идти быстрее.

Так и гнали нас, скованных наручниками, в молчании, по улицам Вашингтона – по столице страны, принцип управления которой, как говорят, покоится на фундаменте неотчуждаемого права человека на жизнь, СВОБОДУ и стремление к счастью. Ура! Вот уж воистину Колумбия – счастливая земля.

Когда мы добрались до парохода, нас тут же загнали в трюм, где мы устроились среди бочек и ящиков с грузом. Цветной слуга принес фонарь, раздался удар колокола, и вскоре судно отправилось в путь вниз по Потомаку, везя нас – куда? – мы не знали. Колокол зазвонил, когда мы поравнялись с гробницей самого Вашингтона. Не сомневаюсь, что Берч с непокрытой головой почтительно поклонился священному праху человека, который посвятил свою выдающуюся жизнь свободе этой страны.

Никто из нас не спал в ту ночь, кроме Рэндалла и маленькой Эмми. Впервые за все время Клем Рэй был совершенно безутешен. Мысль о том, что его отправляют на Юг, приводила его в крайний ужас. Он покидал друзей и знакомых своей юности – все, что было мило и дорого его сердцу, – чтобы, по всей вероятности, никогда более не вернуться. Они с Элизой плакали, смешивая свои слезы, оплакивая жестокую судьбу. Что касается меня, то я изо всех сил пытался сохранить присутствие духа. **Я строил в мыслях своих сотню планов побега** и был полон решимости предпринять его при первой же представившейся отчаянной возможности. Однако к тому времени я пришел к мысли, что с моей стороны будет разумнее ничего не говорить о том, что я был рожден свободным человеком. Это лишь послужило бы причиной дурного обращения со мной и уменьшило бы мои шансы на освобождение.

Когда рассвело, нас позвали на палубу завтракать. Берч снял с нас наручники, и мы уселись за стол. Он осведомился, не выпьет ли Элиза капельку спиртного. Она отказалась, вежливо поблагодарив его. Во время трапезы все мы молчали – не обменялись ни единым словом. Женщина-мулатка, которая прислуживала нам за столом, казалось, прониклась сочувствием к нашей судьбе – посоветовала нам ободриться и не падать духом. Когда завтрак окончился, наручники снова были надеты, и Берч велел нам идти на кормовую палубу. Мы уселись все вместе на какие-то ящики, по-прежнему ничего не говоря в присутствии Берча. Временами какой-нибудь пассажир подходил к тому месту, где мы сидели, некоторое время разглядывал нас, затем молча возвращался на свое место.

Выдалось весьма славное утро. Поля вдоль реки были покрыты всходами, которые выглядывали здесь гораздо раньше, чем я привык видеть в это время года. Солнце сияло и грело; на деревьях пели птицы. Счастливые! – я завидовал им. Хотелось бы мне иметь крылья, как у них, чтобы взмыть в воздух и лететь в прохладные земли Севера, туда, где птенчики мои напрасно ждали возвращения отца.

Ближе к полудню пароход достиг Аквиа-Крик. Там пассажиры расселись по дилижансам. Берч и мы, пятеро его невольников, целиком заняли один из них. Он шутил с детьми, а во время одной остановки даже купил им по прянику. Берч велел мне повыше держать голову и выглядеть пристойно. Сказал, что я, может быть, найду себе хорошего хозяина, если буду хорошо себя вести. Я не ответил ему. Лицо его было мне ненавистно, и невыносимо было глядеть на него. Я сидел в уголке, лелея в своем сердце надежду, пока еще не исчезнувшую, когда-нибудь встретиться с этим тираном на земле моего родного штата.

Во Фредериксберге нас пересадили из дилижанса в вагон, и еще до наступления темноты мы прибыли в Ричмонд, главный город Виргинии. В этом городе нас высадили из вагонов и погнали по улицам к невольничьему загону, который располагался между железнодорожным депо и рекой и принадлежал некоему мистеру Гудину. Этот загон во всем подобен загону Уильямса в Вашингтоне, если не считать того, что он несколько просторнее; и в разных углах двора здесь стояли еще два домика. Такие домики обычно строят во дворах невольничьих рынков и используют как помещения, где покупатели, прежде чем заключить сделку, осматривают свое будущее живое имущество. **Нездоровье раба, подобно порокам лошади, существенно снижает его цену.** Таким образом, пристальное изучение продаваемого товара – дело чрезвычайной важности для погонщика негров.

У ворот двора Гудина нас встретил сей джентльмен собственной персоной – малорослый толстяк с округлым пухлым лицом, черноволосый, черноусый, с кожей почти такой же темной, как у некоторых его негров. Взгляд у него был тяжелый и твердый, а лет ему было на вид около пятидесяти. Они с Берчем приветствовали друг друга с большой сердечностью. Очевидно, они были старыми приятелями. С теплотой пожимая ему руку, Берч заметил, что привез с собой кое-какую компанию, и осведомился, когда отчаливает бриг. Гудин ответил в том духе, что, вероятно, отплытие состоится на следующий день примерно в этот же час. Затем он повернулся ко мне, взял за руку, заставил поворотиться и принялся пристально разглядывать меня

с выражением человека, который считает себя хорошим знатоком товара, точно прикидывал в уме, сколько примерно я могу стоить.

– Ну, бой¹⁶, откуда ты родом?

Забывшись на мгновение, я ответил:

– Из Нью-Йорка.

– Из Нью-Йорка? Дьявольщина. А что же ты здесь-то делаешь? – последовал его ошеломленный вопрос.

Заметив в этот миг, что Берч смотрит на меня с гневным выражением на лице, значение которого трудно было не понять, я тут же добавил:

– О, я туда ездил ненадолго, – тоном, который подразумевал, что хоть я и побывал в самом Нью-Йорке, но хочу отчетливо дать понять, что не принадлежу к этому свободному штату, равно как и ни к какому иному.

После этого Гудин повернулся к Клему, затем к Элизе и детям, так же пристально изучая их и задавая различные вопросы. Ему явно понравилась Эмили, как и каждому, кто видел этого милого ребенка. Сейчас она уже была не такой аккуратной, как когда я впервые увидел ее; волосы ее несколько спутались; но сквозь их неухоженную и мягкую завесу по-прежнему сияло маленькое личико самой выдающейся красоты.

– Отличная партия – дьявольски хорошая партия, – приговаривал он, подкрепляя это свое мнение столь крепкими прилагательными, каких не сыщешь в словаре истинного христианина. После этого мы проследовали во двор. Довольно значительное число невольников, наверно не менее тридцати, бродили вокруг или сидели на лавках под навесом. Все они были чисто одеты: мужчины – в шляпах, женщины – в платках, повязанных вокруг головы.

Берч и Гудин, расставшись с нами, поднялись по ступенькам к задней части главного здания и уселись на веранде. Они вступили в беседу, но тема ее не достигала моего слуха. Спустя некоторое время Берч спустился во двор, снял с меня наручники и повел в один из маленьких домиков.

– Ты сказал этому человеку, что ты из Нью-Йорка, – проговорил он.

Я возразил:

– Я сказал ему, что побывал в самом Нью-Йорке, верно; но не говорил, что я там живу, и не говорил, что я свободный человек. Я не хотел ничего плохого, господин Берч. Я бы и этого не сказал, если бы успел подумать.

Он мгновение разглядывал меня с таким выражением, точно готов был съесть живьем, затем развернулся и вышел. Через несколько минут он воротился.

– **Если я раз еще услышу от тебя хоть слово о Нью-Йорке или о твоей свободе, тут тебе и конец – я тебя убью;** можешь положиться на мое слово, – изрыгнул он с яростью.

Не сомневаюсь, что он тогда понимал лучше, чем я, какая опасность и какое наказание грозит за продажу свободного человека в рабство. Он чувствовал необходимость заставить меня молчать о преступлении, которое он совершал. Разумеется, жизнь моя весила бы легче перышка, если какая-то срочная надобность потребовала бы такой жертвы. И он имел в виду именно то, что сказал.

Под навесом с одной стороны двора был сколочен грубый стол, а наверху располагался сеновал для сна – такой же, как в вашингтонском загоне. Получив за этим столом свою долю ужина, состоявшего из свинины и хлеба, я был снова прикован наручниками к крупному смуглому мужчине, весьма крепкому и дородному, с лицом, выражавшим крайнюю подавленность. Он оказался человеком весьма разумным и знающим. Поскольку нас сковали вместе, прошло не так много времени, прежде чем мы поведали друг другу свои истории. Звали его Робертом. Как и я, он был рожден свободным, и в Цинциннати у него осталась жена и двое детей. Он

¹⁶ Бой (от англ. boy – парень) – обращение к слуге, возникшее в период колониализма. – Прим. перев.

сказал, что приехал на Юг с двумя мужчинами, которые наняли его в родном городе. Не имея удостоверения вольного, он был схвачен во Фредериксбурге и посажен в тюрьму, где его били до тех пор, пока он не усвоил, как и я, необходимость и благоразумность молчания. В невольничьем загоне Гудина он пробыл около трех недель. К этому человеку я сильно привязался. Мы понимали друг друга. (Однако прошло немного времени, прежде чем я со слезами и тяжелым сердцем увидел, как он умирает, и бросил последний взгляд на его безжизненное тело.)

Роберт и я вместе с Клемом, Элизой и ее детьми спали в ту ночь на своих одеялах в одном из маленьких домиков во дворе. Там было еще четверо других невольников с одной и той же плантации, которых продали хозяева, и теперь они тоже были на пути на Юг. Дэвид и его жена Каролина, оба мулаты, были чрезвычайно взволнованы. Мысль о том, что их отправят на тростниковые и хлопковые поля, приводила их в ужас; но самым большим источником тревоги было опасение, что их разлучат. Мэри, высокая, гибкая девушка с кожей самого темного негроидного оттенка, была полна апатии и явного безразличия. Как и многие представители ее класса, она едва ли вообще слышала такое слово, как «свобода». Выросшая в животном невежестве, она и разумом не намного превосходила животное. Мэри была одной из тех (и таких множество), кто боится лишь плети хозяина и не знает иного долга, кроме как повиноваться его голосу. Другую девушку звали Лети. Ее характер был совершенно иным. Благодаря длинным прямым волосам и чертам лица она больше походила на индианку, чем на негритянку. У нее были пронзительные и злые глаза, а с уст ее непрерывно слетали слова мести и ненависти. Ее муж был уже продан. И Лети понятия не имела, где он находится. Перемена хозяина, как она была уверена, не сулила ей ничего хорошего. Ей было все равно, куда ее отправят. Указывая на шрамы на своем лице, это отчаянное создание высказывало пожелание, чтобы настал тот день, когда она сможет омочить их в крови какого-нибудь мужчины.

Пока мы так делились друг с другом историями своих несчастий, Элиза сидела в уголке и распевала псалмы, молясь о своих детях. Утомленный столь долгим отсутствием сна, я больше не мог сопротивляться искусу этого «сладкого воскресителя»¹⁷ и, улегшись рядом с Робертом на полу, вскоре позабыл о своих печалях и проспал до самого рассвета.

Поутру, когда мы подмели двор и умылись под надзором Гудина, нам приказали скатать одеяла и подготовиться к продолжению нашего путешествия. Клему Рэю сообщили, что дальше он не поедет: Берч по какой-то причине решил отвезти его обратно в Вашингтон. Тот был вне себя от радости. Обменявшись рукопожатием, мы расстались в невольничьем загоне в Ричмонде, и с тех пор я его не видел. Но после возвращения я узнал, к своему удивлению, что Клем бежал из неволи и по пути на свободную землю Канады провел одну ночь в доме моего зятя в Саратоге. Он и сообщил моей семье о том месте и обстоятельствах, при которых мы расстались.

Днем нас выстроили попарно, меня и Роберта первыми, и таким порядком Берч и Гудин повели нас со двора по улицам Ричмонда к бригу «Орлеан». То было судно внушительных размеров, с полной оснасткой и груженное в основном табаком. К пяти вечера мы были уже на борту. Берч принес каждому из нас по оловянной кружке и ложке. На бриге нас оказалось 40 человек – то есть все, кроме Клема, кто был в невольничьем загоне.

Маленьким карманным ножиком, который у меня не отобрали, я принялся вырезать свои инициалы на оловянной кружке. Остальные немедленно сгрудились вокруг меня, прося таким же образом пометить и их кружки. Со временем я удовлетворил все просьбы, о чем товарищи мои, похоже, впоследствии не забыли.

На ночь всех нас спустили в трюм и задраили люк. Мы улеглись, кто на ящиках, кто в иных местах, где только можно было расстелить на полу наши одеяла.

¹⁷ Цитата из первой строки поэмы английского поэта-сентименталиста Эдуарда Юнга (1681–1765) «Плач, или Ночные мысли о жизни, смерти и бессмертии». – Прим. перев.

Берч сопровождал нас не далее Ричмонда и вернулся из этого города в столицу вместе с Клемом. Прошло почти двенадцать лет до того мига, когда в прошлом январе в полицейском участке Вашингтона глаза мои вновь узрели лицо Берча.

Джеймс Берч был работником – задешево покупал мужчин, женщин и детей и продавал их с выгодой. Он был спекулянт, торговавший человеческой жизнью, – бесчестное занятие – таким его считали даже на Юге. Отныне Берч исчезает со сцены этого повествования, но вновь появится незадолго до его конца, уже не в роли тирана, бичующего людей плетью, но как арестованный, испуганный преступник в суде (который, правда, так и не смог воздать ему по справедливости).

Глава V

Прибытие в Норфолк – Фредерик и Мария – Артур, свободный человек – Назначен стюардом – Джим, Каффи и Дженни – Буря – Багамская банка – Штиль – Заговор – Шлюпка – Оспа – Смерть Роберта – Матрос Мэннинг – Встреча в кубрике – Письмо – Прибытие в Новый Орлеан – Спасение Артура – Теофилус Фриман, грузо-получатель – Платт – Первая ночь в новоорлеанском невольничьем загоне

После того как все мы разместились на борту, бриг «Орлеан» тронулся в путь вниз по Джеймс-Ривер. Войдя в Чесапикский залив, мы прибыли на следующий день к городу Норфолк. Когда бросили якорь, к нам от города подошел лихтер¹⁸, который привез еще четверых рабов. Фредерик, 18-летний юноша, родился рабом, как и Генри, который был на несколько лет старше. Они оба были домашними слугами в этом городе. Мария была цветной девушкой довольно благородной внешности с безупречными формами, но притом невежественной и крайне тщеславной. Ей льстила мысль о том, что она отправится в Новый Орлеан. О собственной привлекательности она была весьма высокого мнения. Сделав высокомерную мину, она объявила своим спутникам, что немедленно по нашем прибытии в Новый Орлеан ее, несомненно, сразу же купит какой-нибудь богатый одинокий джентльмен с хорошим вкусом.

Но самым выдающимся из этой четверки был мужчина по имени Артур. Пока лихтер приближался к бригу, он отважно сражался со своими пленителями. Только общими усилиями удалось втащить его на борт брига. Он громко протестовал против такого обращения и требовал, чтобы его освободили. Все лицо его, покрытое ранами и синяками, распухло, а одна щека превратилась в сплошную рваную ссадину. Его со всей возможной спешкой затолкали через люк в трюм. Пока он боролся, я уловил обрывки его истории, а впоследствии он рассказал ее во всей полноте. Состояла она в следующем. Он долго жил в городе Норфолке и был свободным человеком. У него там была семья, а по роду занятий он был каменщиком. Однажды, сильно задержавшись, он шел поздним вечером, направляясь к своему дому, который располагался на окраине города, и на безлюдной улице на него напала банда незнакомцев. Он боролся до тех пор, пока силы не покинули его. Нападавшие, наконец одолев его, вставили ему в рот кляп, связали веревками и избивали, пока он не лишился сознания. Несколько дней они прятали его в невольничьем загоне в Норфолке – похоже, это вполне обычное дело в городах Юга. В ночь накануне нашей встречи его вытащили из загона и доставили на борт лихтера, который, отойдя от берега, ожидал нашего прибытия. Он некоторое время продолжал свои протесты, и заставить его замолчать было совершенно невозможно. Однако в конце концов он умолк. Артур погрузился в мрачное и задумчивое настроение и, похоже, держал совет сам с собой. В решительном лице этого человека было нечто, наводившее на мысли о безрассудном отчаянии.

После того как мы вышли из Норфолка, наручники были сняты, и в течение дня нам было позволено оставаться на палубе. Капитан выбрал себе в посыльные Роберта, а я был назначен надзирать над кухней, а также заведовать распределением пищи и воды. У меня было три помощника из других невольников, пльвших на «Орлеане», – Джим, Каффи и Дженни. Дженни доверили готовить кофе, который состоял из кукурузной муки, зажаренной дочерна в котелке, заваренной кипятком и подслащенной патокой. Джим и Каффи пекли кукурузные лепешки и варили бекон.

Стоя у стола, состоявшего из широкой доски, покоившейся на днищах бочек, я нарезал еду и раздавал каждому по куску мяса и «сэндвичу» из хлеба, а Дженни из котелка наливал всем по чашке «кофе». От использования тарелок не было и речи, и загрубелые пальцы

¹⁸ Лихтер (голл. **lichter**) – грузовое несамоходное морское судно, используемое для перевозки грузов с помощью буксирных судов, а также для беспричальных грузовых операций при погрузке или разгрузке на рейде глубоководных судов. – БСЭ.

рабов заняли место вилок и ножей. Джим и Каффи были весьма рассудительны и внимательны в своем деле, даже отчасти гордились своим положением помощников при кухне и, несомненно, чувствовали, что на них возложили огромную ответственность. Меня прозвали «стюардом»¹⁹ – такое прозвание было дано мне капитаном.

Рабов кормили дважды в день, в десять утра и пять вечера, – и всегда мы получали одну и ту же пайку пищи и в том же виде, который я описал выше. На ночь нас загоняли в трюм и надежно запирали.

Едва большая земля скрылась из виду, как на нас налетел яростный шторм. Бриг раскачивался и клевал носом, и под конец мы стали опасаться, что он потонет. Некоторых дожимала морская болезнь, другие бросились на колени в молитвах, а третьи крепко держались друг за друга, парализованные страхом. Результаты морской болезни сделали место нашего заключения еще более ненавистным и отвратительным. Для большинства из нас было бы счастьем, если бы сострадательное море вырвало нас в тот день из лап безжалостных людей (это спасло бы нас от мучений, вызванных сотнями ударов плетей, и вероятной жалкой смерти в финале). **Думать о том, что Рэндалл и маленькая Эмми потонули бы среди чудовищ морских глубин, – и то приятнее, чем представлять, что с ними случилось сейчас.** Ведь они, вероятно, так и влачат жизнь в ничем не оплаченных тяжких трудах.

Когда мы были в виду Багамской банки²⁰ – в месте, именуемом Олд-Пойнт-Компас, или «дыра в стене», – наступил штиль, который продержал нас тут трое суток. Дышать было нечем. Воды залива были необыкновенного белого цвета, похожего на известковое молоко.

Описывая ход событий, я ныне подошел к рассказу о происшествии, которое всегда вспоминаю не иначе как с чувством горестного сожаления. Я благодарю Бога, который с тех пор не только позволил мне спастись из узилища рабства, но был так милостив, что мне не довелось при этом омочить свои руки в крови Его созданий... Однако пусть те, кто никогда не был в подобных обстоятельствах, не судят меня строго. Пока они не побывают в цепях, пока на них не посыплются побои... Пока они сами не окажутся в том положении, в каком был я, похищенный и увезенный от дома и семьи в невольничьи земли, – пусть они воздержатся от всяческого осуждения выбора путей, ведущих к желанной свободе. Незачем строить теперь домыслы о том, насколько оправданным в глазах Бога или людей могло быть мое поведение. Достаточно сказать, что я способен поблагодарить самого себя за то, что в деле, которое некоторое время угрожало серьезными последствиями, никто не пострадал.

Ближе к вечеру в первый день штиля мы с Артуром были на баке судна, сидели на брашпиле²¹. Мы беседовали о возможной судьбе, которая ожидала нас, и вместе оплакивали свои несчастья. Артур сказал – и я с ним согласился, – что смерть далеко не так ужасна, как перспектива жизни, которая нас ожидала. Долгое время говорили мы о наших детях, о нашей прошлой жизни и о возможностях побега. Один из нас предложил завладеть бригом. Мы принялись обсуждать, возможно ли в таком случае проделать весь путь до побережья Нью-Йорка. Я мало что смыслил в навигации; но идея рискованного предприятия чрезвычайно меня увлекла. Мы обсуждали шансы «за» и «против» при столкновении с командой судна. На кого можно полагаться, а на кого нельзя, точное время и способ нападения – все это вновь и вновь обдумывали и проговаривали. С того мгновения, как возник этот замысел, ко мне вернулась надежда. Я непрестанно вертел его в уме то так, то эдак. Если являлись мысли о возможных препятствиях, то тут же наготове было и воображение, показывавшее, как можно их преодолеть. Пока

¹⁹ Стюард (стюардесса), бортпроводник – специалист рядового состава на водных и воздушных судах, выполняющий на них работы по обслуживанию пассажиров. – Википедия.

²⁰ Багамская банка – обширная, площадью около 180 тыс. км, песчано-коралловая отмель с субтропической флорой и фауной. – Прим. перев.

²¹ Палубный механизм лебедочного типа. Используется для подъема якорей, создания натяжения тросов при швартовке. – Прим. перев.

другие спали, мы с Артуром оттачивали наши планы. Со временем и с большими предосторожностями мы мало-помалу познакомили со своими намерениями Роберта. Он сразу же их одобрил и со всем рвением вступил в заговор. Ни одному другому рабу мы не решились довериться. Поскольку воспитаны они были в страхе и невежестве, трудно даже представить себе, насколько униженно они шарахались от одного взгляда белого человека. Было небезопасно посвящать в столь дерзкую тайну любого из них, и под конец мы втроем решились взять на одних себя всеяющую страх ответственность за нападение.

Я уже говорил, что по ночам нас загоняли в трюм и задраивали люк. Как добраться до палубы – вот была первая представившаяся нам трудность. Однако на баке брига я заметил небольшую шлюпку, лежавшую дном вверх. Мне пришло в голову, что, если мы затаимся под ней, нас не хватятся в толпе, когда вечером будут сгонять невольников в трюм. Я был избран для того, чтобы проделать этот эксперимент – с целью удостовериться в его осуществимости. Соответственно этому решению следующим вечером после ужина, улучив возможность, я торопливо спрятался под ней. Лежа ничком на палубе, я видел, что происходило вокруг меня, сам оставаясь совершенно невидимым. Утром, когда невольники вышли из трюма, я выскользнул из своего укрытия, так и оставшись никем не замеченным. Результат оказался полностью удовлетворительным.

Капитан и его помощник спали в капитанской каюте. От Роберта, который нередко имел случай, выполняя обязанности посыльного, бывать в этой части судна, мы узнали точное расположение их коек. Он же сообщил нам, что на столе у них всегда лежат два пистолета и абордажная сабля. Кок команды спал в камбузе на палубе; это была своего рода повозка на колесах, которую можно было перемещать по палубе так, как это требовалось для удобства, в то время как матросы, числом всего шесть человек, спали либо в носовом кубрике, либо в гамаках, подвешенных среди оснастки. Наконец все наши приготовления были завершены. Мы с Артуром должны были потихоньку проникнуть в каюту капитана, схватить пистолеты и саблю и как можно скорее отправить на тот свет его самого и помощника. Роберт, вооруженный дубинкой, должен был стоять у двери, ведущей с палубы в каюту, и в случае необходимости отбиваться от матросов до тех пор, пока мы не сможем поспешить ему на помощь. С матросами следовало поступить так, как сложатся обстоятельства. В случае, если нападение будет столь внезапным и успешным, что предотвратит всякое сопротивление, люк в трюм пусть остается задраиваемым. А в противном случае мы планировали позвать на помощь невольников, и в толпе, суматохе и сутолоке полны были решимости или вернуть себе свободу, или лишиться жизни. После этого я должен был занять освободившееся место рулевого и, правя на север, с помощью попутного ветра (как мы надеялись) доставить нас всех в землю свободы.

Помощника капитана звали Бидди. Имя капитана я ныне не могу припомнить, хотя вообще редко забываю имена, стоит мне раз их услышать. Капитан был небольшого роста, изящный человек, стройный и проворный, с гордой осанкой, и выглядел как само воплощение отваги. Если он еще жив и эти страницы когда-нибудь попадутся ему на глаза, он узнает о не внесенном в корабельный журнал факте, связанном с рейсом его брига из Ричмонда в Новый Орлеан в 1841 году.

Мы были полностью подготовлены и с нетерпением ожидали возможности привести наши замыслы в исполнение, но тут их разрушило печальное и непредвиденное событие. Роберт заболел. Вскоре было объявлено, что у него оспа. Ему становилось все хуже, и за четыре дня до нашего прибытия в Новый Орлеан он умер. Один из матросов зашил его в одеяло, привязав к ногам в качестве балласта большой камень, затем его уложили на крышку люка и, подняв его на таях над леерами, предали безжизненное тело бедного Роберта белесым водам залива.

Появление оспы всех нас повергло в панику. Капитан велел рассыпать по трюму известь и принять другие необходимые меры предосторожности. Однако смерть Роберта и при-

сутствие страшной болезни подействовали на меня весьма угнетающе, и я взирал на безбрежные водные пространства с душой воистину безутешной.

Вечер или два спустя после похорон Роберта я сидел, прислонившись к люку подле бака, полный гнетущих мыслей, и один из матросов мягким голосом спросил меня, почему я пребываю в таком унынии. Тон и манеры этого человека внушали мне доверие, и я ответил ему: потому что я был свободным человеком и стал жертвой похищения. Он заметил, что этого любому было бы достаточно, чтобы пасть духом, и продолжал расспрашивать меня до тех пор, пока не вызнал все подробности моей истории. Он явно проникся сильным сочувствием к моей судьбе и, выражаясь грубоватым языком матроса, поклялся помочь мне всем, что в его силах, даже если у него «тимберсы треснут»²². Я попросил его снабдить меня пером, чернилами и бумагой, чтобы я мог написать своим друзьям. Он пообещал добыть их – но вот вопрос: как я смогу воспользоваться ими так, чтобы никто не увидел? Если бы я только сумел добраться до бака, когда его вахта будет окончена, а другие матросы будут спать, все это можно было бы исполнить. Мне сразу же пришла в голову мысль о шлюпке. Он считал, что мы недалеко от городка Белиз, что в устье Миссисипи, и письмо надо написать как можно скорее, иначе шанс будет упущен. Соответственно нашему уговору, я исхитрился на следующую ночь вновь затаиться под лодкой. Его вахта оканчивалась к полуночи. Я видел, как он прошел на корму, и через час последовал за ним. Он клевал носом над столом, наполовину задремав; на том же столе мерцал слабый огонек свечи, лежали перо и лист бумаги. Когда я вошел, он пробудился, поманил меня, чтобы я сел рядом с ним, и указал на бумагу. Я адресовал письмо Генри Нортапу из Сэнди-Хилл – сообщая, что я был похищен, затем отведен на борт брига «Орлеан», направляющегося в Новый Орлеан; что никак не могу даже представить, каков будет мой конечный пункт назначения, и что обращаюсь к нему с просьбой принять меры к моему вызволению. Письмо было запечатано, адрес надписан, и Мэннинг, который прочел текст, пообещал отправить его из новоорлеанского почтового отделения. Я поспешил назад в свое укрытие под шлюпкой, а утром, когда рабов выпустили из трюма и они разбрелись по палубе, вылез оттуда, незамеченный, и смешался с ними.

Мой добрый друг, которого звали Джоном Мэннингом, был англичанином по рождению и самым благородным, самым великодушным моряком, какой когда-либо ступал по палубе корабля. Он, житель Бостона, был высоким, хорошо сложенным человеком, около двадцати четырех лет, с лицом несколько рябым, но преисполненным добродушия.

Ничто не разнообразило монотонности нашей повседневной жизни, пока мы не достигли Нового Орлеана. Когда мы подошли к пристани, еще прежде, чем корабль успел пришвартоваться, я увидел, как Мэннинг спрыгнул на берег и поспешил в город. Но вначале он бросил многозначительный взгляд через плечо, давая мне понять цель своей срочной вылазки. Вскоре он вернулся и, проходя рядом со мной, подтолкнул меня локтем, сопроводив этот жест многозначительным подмигиванием – мол, «дело сделано».

Это письмо, как я впоследствии узнал, добралось до Сэнди-Хилл. Мистер Нортап съездил в Олбани и предъявил его губернатору Сьюарду, но поскольку в нем не содержалось никаких определенных сведений относительно моего вероятного местонахождения, в то время принимать меры к моему освобождению было невозможно. Власти сочли нужным отложить решение, полагая, что со временем удастся получить сведения о том, где я нахожусь.

Едва мы подошли к причалу, глазам нашим представилась счастливая и трогательная сцена. Как раз когда Мэннинг покинул бриг и отправился на почту, к кораблю подошли двое мужчин и стали громко выкликать Артура. Последний, узнав их, чуть с ума не сошел от радости. Его едва удержали, чтобы он не спрыгнул с борта брига. И когда вскоре состоялась их встреча, Артур ухватил встречавших его за руки и очень, очень долго не отпускал. Это были

²² Тимберс – деревянный брус, идущий на изготовление шпангоутов, поперечных ребер корпуса судна.

люди из Норфолка, которые прибыли в Новый Орлеан, чтобы выволить его. Его похитители, как выяснилось, были арестованы и с тех пор сидели в норфолкской тюрьме. Они несколько минут переговорили с капитаном, а затем отбыли вместе с обрадованным Артуром.

Увы, во всей толпе, которая заперудила порт, не нашлось никого, кто знал бы меня или позаботился бы обо мне. Ни одного человека. Ни один знакомый голос не ласкал мой слух, не увидел я ни одного знакомого лица. Скоро, скоро Артуру предстояло воссоединиться со своей семьей и получить удовлетворение, видя, как грядет отмщение за причиненный ему вред; а мои родные – увижу ли я их вновь когда-нибудь? **В сердце моем угнездились чувство крайнего отчаяния**, наполняя его безнадежностью и сожалением о том, что я не отправился на дно морское вместе с Робертом.

Очень скоро на борт поднялись работоторговцы и получатели живого товара. Один из них, высокий, с тонкими чертами человек, светлокожий и чуть сутулый, явился с бумагой в руке. Партия Берча, включавшая меня, Элизу с детьми, Гарри, Лети и нескольких других, присоединившихся к нам в Ричмонде, была направлена к нему. Этим джентльменом был мистер Теофилус Фриман. Поднеся к глазам свою бумагу, он выкликнул: «Платт». Никто не отозвался. Это имя он повторял снова и снова, но ответа по-прежнему не было. Потом была названа Лети, затем Элиза, за нею Гарри, пока весь список не кончился, и каждый из них делал шаг вперед, когда называли его имя.

– Капитан, где Платт? – спросил Теофилус Фриман.

Капитан не мог ему ничего сообщить, поскольку никто на борту не отзывался на это имя.

– А кто же отправил этого ниггера? – вновь спросил он капитана, указывая на меня.

– Берч, – ответил капитан.

– Твое имя Платт – ты отвечаешь моему описанию. Почему ты не сделал шаг вперед? – спросил он меня гневным тоном.

Я сообщил ему, что это не мое имя; что меня никогда так не называли, но я против него несколько не возражаю.

– Ладно, – посулил он, – я научу тебя твоему имени, да так, что ты его никогда не забудешь. Дьяволом клянусь, – добавил он.

Мистер Теофилус Фриман, между прочим, ни в чем не уступал своему партнеру, Берчу, по части богохульства. На корабле я плыл под кличкой «Стюард», а теперь меня в первый раз назвали Платтом – именем, которое Берч прислал покупателю его товара. С судна я видел, как работали на причале грузчики, выстроившись цепочкой. Мы миновали их, пока нас гнали в невольничий загон Фримана. Этот загон был очень похож на загон Гудина в Ричмонде, если не считать того, что двор был обнесен частоколом с заостренными верхушками, а не кирпичными стенами.

Вместе с нами в этом загоне было по меньшей мере 50 человек. Когда мы сложили свои одеяла в одном из маленьких домиков во дворе, а затем прошли переключку и получили свой паек, нам позволили погулять по двору до темноты, после чего мы завернулись в одеяла и улеглись – кто под навесом, кто на сеновале, а кто и в открытом дворе, каждый в меру своих предпочтений.

Той ночью я почти не сомкнул глаз. Разум мой кипел от мыслей. Может ли быть, что я оказался в тысячах миль от дома – что меня гнали по улицам, как тупое животное, – что я был закован в цепи и подвергнут немилосердной порке – что я в этот самый миг член стада невольников и сам стал рабом? Были ли события последних нескольких недель реальностью? Или передо мной просто проходят ужасные картины затянувшегося кошмарного сна? Никаких иллюзий у меня не было. Моя скорбная чаша была полна до краев. Тогда я воздел руки к небу и, посреди ночи, окруженный телами спящих моих товарищей, стал молить о милосердии к бедному, всеми забытому пленнику. К Отцу Всемогущему всех нас – свободных и рабов – возносил я мольбы сломленного духа, умоляя дать мне сил свыше, дабы мог я вынести бремя

моих несчастий. И молился так, пока утренний свет не разбудил спящих, начиная собою еще один день неволи.

Глава VI

Предприятие Фримана – Чистота и одежда – Упражнения в демонстрационной комнате – Танец – Боб-скрипач – Прибытие покупателей – Смотр рабов – Пожилой джентльмен из Нового Орлеана – Продажа Дэвида, Кэролайн и Лети – Расставание Рэндалла и Элизы – Оспа – Больница – Выздоровление и возвращение в невольничий загон Фримана – Покупка Элизы, Гарри и Платта – Мучения Элизы при расставании с малышкой Эмми

Сей великодушный и благочестивый душою мистер Теофилус Фриман, партнер и грузополучатель Джеймса Берча, владелец невольничьего загона в Новом Орлеане, явился среди своих животных ранним утром. Мужчин и женщин постарше он будил пинками, а рабов помладше – многочисленными резкими щелчками кнута над ухом, и вскоре все уже пришли в движение и сделались бодры. Мистер Теофилус Фриман энергично носился по всему двору, не покладая рук и готовя свою собственность к распродаже, намереваясь, несомненно, заключить в тот день не одно выгодное дельце.

Прежде всего он потребовал, чтобы мы тщательно вымылись, а тем, у кого были бороды, велено было их сбрить. Затем каждого из нас снабдили новой одеждой, дешевой, но чистой. Каждый мужчина получил шляпу, куртку, рубаху, штаны и башмаки, а женщины – платья из хлопчатобумажной ткани и платки, чтобы повязать ими головы. Только после этого нас повели в большую залу в передней части здания, к которой прилегал двор, чтобы как следует вымуштровать перед прибытием покупателей. Мужчин выстроили по одну сторону залы, женщин – по другую. Самых высоких поставили во главу каждого ряда, за ними следовали те, кто был чуть пониже, и так далее по росту. Эмили стояла в конце цепочки женщин. Фриман велел нам запомнить свои места. Он довольно угрожающим тоном и пересыпая свою речь разнообразными увещеваниями призвал нас выглядеть смышленными и оживленными. Весь день он упражнял нас в искусстве «выглядеть смышленными» и находить свои места с абсолютной точностью. После дневной кормежки нас вновь заставили маршировать и танцевать. Боб, цветной парнишка, который уже некоторое время принадлежал Фриману, играл на скрипке. Стоя рядом с ним, я осмелел настолько, что спросил, может ли он сыграть «Виргинский рил»²³. Он ответил, что не знает такого, и спросил, умею ли я играть. Я ответил утвердительно, и он передал мне скрипку. Я подстроился, начал мелодию и окончил ее. Фриман велел мне продолжать играть и казался весьма довольным, бросив Бобу, что я намного превосхожу его в игре на скрипке. Это замечание, похоже, весьма огорчило моего сотоварища-музыканта.

На следующий день стали приходиться покупатели, желавшие осмотреть «новую партию» Фримана. Тот щебетал не умолкая, многословно распространяясь о наших многочисленных достоинствах и положительных качествах. Он заставлял нас повыше поднимать головы, бодро маршировать вперед и назад, в то время как покупатели ощупывали наши руки и тела, поворачивали нас на месте, расспрашивали, что мы умеем делать, заставляли открывать рты и показывать зубы – точь-в-точь как изучают лошадь, которую собираются обменять или купить. **Порой какого-нибудь мужчину или женщину уводили в маленький домик во дворе, раздевали и изучали более подробно.** Шрамы на спине раба считались свидетельством бунтарского или несдержанного нрава и вредили покупке.

Один пожилой джентльмен, который сказал, что ему нужен кучер, похоже, проникся ко мне симпатией. Из разговора его с Фриманом я узнал, что он живет в этом городе. Я всей душой желал, чтобы он купил меня, поскольку предполагал, что будет нетрудно совершить побег из Нового Орлеана на каком-нибудь судне, направляющемся на север. Фриман запро-сил с него за меня полторы тысячи долларов. Пожилой джентльмен настаивал, что это слиш-

²³ Рил – ирландский или шотландский традиционный танец.

ком много, поскольку времена нынче наступили трудные. Однако Фриман объявил, что я крепок и здоров, хорошей комплекции, да еще и умен. Не упустил он и возможности похвалить мои музыкальные таланты. Пожилой джентльмен спорил с ним весьма умело, утверждая, что в «этом ниггере» нет ничего достопримечательного, и наконец, к моему сожалению, ушел, сказав, что зайдет попозже. Однако в течение этого дня совершился целый ряд продаж. Дэвида и Кэролайн купил один плантатор из Натчеза. Они покинули нас, широко ухмыляясь, в самом счастливом состоянии духа, вызванном тем, что их не разлучили. Лети продали плантатору с Батон-Руж, и глаза ее пылали гневом, когда ее уводили прочь.

Тот же человек купил и Рэндалла. Мальчика заставили прыгать и бегать по полу, а также исполнять множество других трюков, демонстрируя свою живость и физическое состояние. Все время, пока шла торговля, Элиза плакала навзрыд и заламывала руки. Она умоляла этого человека не покупать ее сына, если он не купит в придачу ее саму и Эмили. Она обещала в этом случае быть самой верной рабыней из всех, живущих на этом свете. Мужчина ответил, что не может себе этого позволить, и тогда Элиза разразилась пароксизмом скорби, громко рыдая. Фриман резко развернулся к ней, зажав кнут в поднятой руке, и велел прекратить шум, или он ее выпорет. Он не потерпит таких дел – что еще за нытье; и, если она не замолчит сию же минуту, он выведет ее во двор и выдаст ей тысячу плетей. Да, уж он-то быстро выбьет из нее всю эту чушь – и будь он проклят, если это не так. Элиза скорчилась перед ним и пыталась вытереть слезы, но все было напрасно. Она хочет быть со своими детьми, сказала она, то недолгое время, которое ей осталось жить. Ни нахмуренные брови, ни все угрозы Фримана не могли заставить замолчать безутешную мать. Она продолжала самым жалостным образом умолять и упрашивать не разлучать их троих. Вновь и вновь она твердила, как любит своего мальчика. Десятки раз повторяла она свои прежние обещания – о том, какой верной и послушной она будет; как усердно она станет трудиться день и ночь, до последнего мгновения своей жизни, если только он купит их всех вместе. Но все напрасно; тот человек не мог себе «этого позволить». Сделка совершилась, и Рэндалл должен был уйти. Тогда Элиза бросилась вслед за ним; обнимала его страстно; целовала его снова и снова; просила его помнить ее – и все это время ее слезы струились по лицу мальчика, точно дождевые струи.

Фриман проклинал ее, называя ревой-коровой, плаксивой девкой, и велел ей встать на свое место и вести себя как следует. Он поклялся, что не станет терпеть подобной чепухи ни секундой дольше. Он скоро даст ей настоящий повод для слез, если она не будет чертовски осторожна, уж в этом-то она может положиться на его слово.

Плантатор из Батон-Руж вместе со своими новыми покупками был готов отбыть.

– Не плачь, мама. Я буду хорошим мальчиком. Не плачь, – повторял Рэндалл, оглядываясь, когда они выходили за дверь.

Что случилось с этим парнишкой, одному Богу известно. То была воистину скорбная сцена. Я и сам бы заплакал, если бы посмел.

В ту ночь почти все, кто прибыл на бриге «Орлеан», заболели. Люди жаловались на резкую боль в голове и спине. Малютка Эмили – что было совершенно для нее необычно – не переставая плакала. Утром позвали врача, но он не мог определить причины наших жалоб. Когда он осматривал меня и задавал вопросы, касавшиеся моих симптомов, я сообщил ему свое мнение о том, что это заражение оспой – упомянув о факте смерти Роберта как о причине своего мнения. Вполне может быть, согласился он и сказал, что пошлет за главным врачом больницы. Вскоре прибыл главный врач – низкорослый светловолосый мужчина, которого называли доктором Карром. Он объявил, что это оспа, после чего весь двор переполошился. Когда доктор Карр ушел, Элизу, Эмми, Гарри и меня усадили в телегу и увезли в больницу – большое беломраморное здание, стоявшее на окраине города. Нас с Гарри поместили в палату на одном из верхних этажей. **Болезнь накинута на меня с чудовищной силой. В течение трех дней я был почти слеп.** Однажды, когда я лежал в таком состоянии, вошел Боб,

сказав доктору Карру, что Фриман послал его расспросить, как у нас дела. Скажи ему, велел доктор, что Платт очень плох, но если он доживет до девяти вечера, то, может быть, и оправится.

Я думал, что умру. Хотя впереди меня ожидало мало чего такого, ради чего стоит жить, приближение смерти приводило меня в ужас. Я-то полагал, что моя судьба – окончить жизнь в лоне моей семьи; но испустить дух посреди незнакомцев, при таких обстоятельствах – то была горькая мысль!

В больнице было множество людей обоих полов и всех возрастов. На задворках здания сколачивали гробы. Когда кто-нибудь умирал, звонил колокол – сигнал санитару прийти и доставить тело во владения плотника. Множество раз, всякий день и всякую ночь, звонящий колокол подавал свой меланхоличный голос, объявляя о еще одной смерти. Однако мое время еще не пришло. Когда кризис миновал, я начал выздоравливать, и по истечении двух недель и двух дней вернулся вместе с Гарри в загон, неся на лице своем отметины болезни, которые по сей день продолжают его обезображивать. Элизу и Эмили тоже привезли на следующий день в возке, и снова мы маршировали по демонстрационной зале под наблюдением и пристальным взглядом покупателей. Я все еще лелеял надежду, что пожилой джентльмен, искавший кучера, снова зайдет, как обещал, и купит меня. В этом случае я чувствовал бы абсолютную уверенность в том, что скоро вновь обрету свободу. Покупатели шли один за другим, но пожилой джентльмен так и не объявился.

Наконец однажды, когда мы были во дворе, вышел Фриман и велел нам идти на свои места в большую залу. Когда мы вошли, оказалось, что нас ждет какой-то джентльмен, и поскольку он будет часто упоминаться в дальнейшем развитии этого повествования, описание его внешности и моя оценка его характера с первого взгляда, возможно, придутся к месту.

Это был человек выше среднего роста, несколько сгорбленный и сутулившийся. Он был красивый мужчина и, похоже, достиг средних лет. В его внешности не было ничего отталкивающего; напротив, нечто жизнерадостное и привлекательное проскальзывало в его лице и в тоне голоса. Утонченные стихии благотворно смешались в груди его, и это замечал каждый. Он прохаживался среди нас, задавая множество вопросов о том, что мы умеем делать и к какому труду привычны; если мы хотим жить у него и если мы будем хорошо себя вести, он нас купит; и прочие расспросы в том же духе.

После некоторого дальнейшего изучения и беседы, касавшейся цен, он наконец предложил тысячу долларов за меня, девятьсот за Гарри и семьсот за Элизу. То ли оспа снизила нашу цену, то ли была иная причина, по которой Фриман согласился скинуть пять сотен долларов с той цены, которую вначале просил за меня, – этого я не знаю. Во всяком случае, после краткого напряженного размышления он объявил, что принимает предложение.

Как только Элиза услышала это, вновь начались ее мучения. К тому времени она испугалась, и глаза ее запали от болезни и горя. Для меня было бы облегчением, если бы я мог обойти молчанием последовавшую далее сцену. Она вызывает воспоминания более скорбные и трагические, чем способен описать человеческий язык. Видывал я матерей, которые в последний раз целовали лица своих мертвых отпрысков; видывал я, как они сопровождали своих детей в могилу, когда земля сыпалась с глухим стуком на их гробы, скрывая возлюбленных чад от материнских глаз навсегда; но никогда не видел я такого выражения сильнейшей, безмерной и безбрежной скорби, как когда Элиза расставалась со своей малышкой. Она сорвалась со своего места в ряду женщин и, устремившись туда, где стояла Эмили, подхватила ее на руки. Девочка, сознавая некую надвигающуюся опасность, инстинктивно обвила ручонками материнскую шею и спрянула свою маленькую головку на ее груди. Фриман резко приказал ей замолчать, но она его не слушала. Он схватил ее за руку и грубо потянул, но она лишь теснее прижимала к себе ребенка. Тогда, сопровождая свои действия вереницей страшных ругательств, он нанес ей такой бессердечный удар, что она отшатнулась и едва не упала. О, как

жалостно стала она тогда причитать, и умолять, и просить, чтобы их не разлучали. Почему их не могут купить вместе? Почему бы не оставить ей хотя бы одного из ее дорогих детей?

– Смилуйтесь, смилуйтесь, хозяин, – плакала она, упав на колени. – Пожалуйста, хозяин, купите Эмили. Я никак не смогу работать, если ее у меня заберут: я умру.

Фриман снова перебил ее, но она, не обращая на него внимания, продолжала молить от всей души, рассказывая, как у нее забрали Рэндалла (она его больше никогда не увидит, и теперь будет очень плохо – о Боже! очень плохо), слишком жестоко отбирать у нее и Эмили – ее гордость, ее единственное сокровище, ведь она не сможет выжить без своей матери, она еще так мала.

Наконец, после долгих просьб, покупатель Элизы выступил вперед, по всей видимости впечатленный ее горем, сказал Фриману, что купит Эмили, и спросил, какова ее цена.

– Какова ее цена? Купите ее? – переспросил в ответ Теофилус Фриман. И, тут же ответив на свой собственный вопрос, добавил: – Я не стану ее продавать. Она не продается.

Тот человек заметил, что ему не нужна столь юная рабыня – ему она не принесет никакой выгоды, – но поскольку мать так ее любит, он готов уплатить разумную цену за девочку. Но к этому человеческому предложению Фриман оставался совершенно глух. Он не продаст девочку вообще ни за какую цену. На ней можно сделать кучи и горы денег, сказал он, когда она подрастет и будет на несколько лет постарше. **В Новом Орлеане найдется достаточно мужчин, которые заплатят и пять тысяч долларов за такую красавицу, за такую сладкую штучку, в которую превратится Эмили.** Нет-нет, сейчас он ее не продаст. Она красавица, картинка, куколка благородных кровей – не то что ваши толстогубые, собирающие хлопок нигеры с вытянутыми головами, похожими на пули – будь он проклят, если она такая.

Когда Элиза услышала о решимости Фримана не расставаться с Эмили, она совершенно обезумела.

– Я не пойду без нее. Они не заберут ее у меня! – вопила она, и крики ее смешивались с громким и разъяренным голосом Фримана, велевшего ей замолчать.

Тем временем мы с Гарри вышли во двор и, вернувшись с нашими одеялами, ждали у передней двери, готовые идти. Наш покупатель стоял подле нас, глядя на Элизу с выражением, которое явно указывало на его сожаление из-за того, что ему пришлось купить ее ценой такого неистового горя. Мы ожидали еще некоторое время, пока наконец Фриман, потеряв терпение, не выхватил Эмили из рук матери, несмотря на то, что они цеплялись друг за друга изо всех сил.

– Не покидай меня, мама, не покидай меня, – кричала девочка, пока ее мать грубо вытаскивали вон. – Не уходи, вернись, мама, – продолжала кричать малышка, умоляюще простирая свои крохотные ручонки. Но плакала она напрасно. Нас торопливо вывели за дверь и на улицу. Мы продолжали слышать ее призывы к матери – «вернись, не покидай меня, вернись, мама» – пока ее детский голосок становился слабее, потом еще слабее, постепенно замирал вдали и, наконец, совсем пропал.



Разлучение Элизы с ее вторым ребенком

Больше никогда Элиза не видела ни Эмили, ни Рэндалла. Однако и днем, и ночью она думала о них. На хлопковых полях, в хижине, везде и всегда она говорила только о них – а часто и с ними, как будто они были рядом. Только погружившись в эту иллюзию или в сон, обретала она миг утешения.

Как и было сказано, она не была обычной рабыней. К большой доле природного ума, коим она обладала, прибавились обширные знания и сведения о множестве предметов. Она наслаждалась такими возможностями, какие редко бывают дозволены кому-то из ее угнетенного класса. Она была возвышена до сфер иной жизни. Свобода – свобода для нее самой

и ее отпрысков – много лет была ее облачком в жаркий день, ее столпом огненным по ночам. В своем паломничестве через заустение неволи, устремив взор к этому возбуждавшему надежду маяку, она со временем взобралась «на вершину Фасги» и узрела «землю обетованную»²⁴. И вот в один неожиданный миг разочарование и отчаяние сокрушили ее всю. Чудесное видение свободы скрылось из виду, когда ее повели обратно в неволю. Ныне «горько плачет она ночью, и слезы ее на ланитах ее. Нет у нее утешителя из всех любивших ее; все друзья ее изменили ей, сделались врагами ей»²⁵.

²⁴ Библейское выражение; напр. Второзаконие, 34:1: «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана». – Прим. перев.

²⁵ Видоизмененная цитата из Плача Иеремии, 1:2. – Прим. перев.

Глава VII

Пароход «Рудольф» – Отплытие из Нового Орлеана – Уильям Форд – Прибытие в Александрию, что на Ред-Ривер – Решения – «Великие Сосновые Леса» – Дикий скот – Летняя резиденция Мартина – Техасская дорога – Прибытие в поместье хозяина Форда – Роза – Госпожа Форд – Салли и ее дети – Повар Джон – Уолтер, Сэм и Энтони – Лесозаготовки на Индейском ручье – Дни субботние – Обращение Сэма к Богу – Выгоды доброты – Сплав леса – Адам Тайдем, небольшого росточка белый – Каскалла и его племя – Индейские танцы – Джон Тайбитс – Приближение бури

Покинув новоорлеанский невольничий загон, мы с Гарри последовали за нашим новым хозяином на улицу, а Элизу, которая плакала и то и дело оборачивалась назад, Фриман и его подручные тащили за нами силой, пока мы не оказались на борту парохода «Рудольф», стоявшего тогда у причала. Не прошло и получаса, как мы уже быстро поднимались вверх по Миссисипи, направляясь в какое-то место на реке Ред-Ривер. На борту, помимо нас, было немало невольников, только что купленных на новоорлеанском рынке. Помнится, что некий мистер Келсо – по слухам, известный и богатый плантатор – вез целую толпу рабынь.

Имя нашего хозяина было Уильям Форд. Он обитал тогда в имении «Великие Сосновые Леса», в приходе Авойель, расположенном на правом берегу Ред-Ривер, в самом сердце Луизианы. Ныне он – баптистский проповедник. Во всем приходе Авойель, в особенности на обоих берегах Байю-Бёф²⁶, где его знают лучше всего, сограждане отзываются о нем как о достойном слугителе Божиим. Однако в умах многих северян мысль о том, что человек способен держать своих ближних в рабстве и заниматься торговлей людьми, возможно, совершенно не вяжется с представлениями о нравственной и религиозной жизни. Исходя из описаний личностей вроде Берча, Фримана и им подобных, которые упомянуты здесь далее, люди презирают и предают проклятиям весь класс рабовладельцев без разбору. Но я был некоторое время его невольником и имел возможность хорошо узнать его характер и наклонности, и потому отдаю дань справедливости, когда говорю, что, на мой взгляд, никогда не существовало на свете более доброго, благородного, искреннего христианина, чем Уильям Форд.

Действительно, влияния и знакомства, которыми он был окружен, делали его слепым к изначальной несправедливости, лежащей в основе всей системы рабства. **Он никогда не сомневался в нравственном праве одного человека держать другого в подчинении.** Глядя сквозь те же шоры, что и его предки, он видел вещи в том же свете. Будь он воспитан при других обстоятельствах и под иными влияниями, его представления, несомненно, были бы иными. Тем не менее он был образцовым хозяином, справедливым соответственно мере его понимания, и счастлив был тот раб, который попадал к нему в собственность. Будь все люди таковы, каков он, рабство лишилось бы более чем половины своей горечи.

Два дня и три ночи пробыли мы на борту парохода «Рудольф», и в это время ничего не происходило особенно интересного. Теперь меня звали Платтом – именем, придуманным Берчем, и оно закрепилось за мной на весь период моего рабства. Элиза была продана под именем Дрейди. Так ее определили в купчей Форда, и теперь это имя было внесено в списки в конторе мирового судьи в Новом Орлеане.

Все время нашего пути я непрестанно размышлял о своем положении и держал с собою совет, какой наилучший курс избрать, дабы приблизить в результате мой побег. Порою – не только на пароходе, но и впоследствии – я почти уже готов был полностью раскрыть Форду факты моей истории. Теперь я склоняюсь к тому мнению, что это пошло бы мне на пользу. Я даже часто рассматривал такой шаг, но из страха потерпеть неудачу так к нему и не прибег-

²⁶ Слово «байю» (видоизмененное франц.) обозначает проток или старицу; рукав в дельте реки с медленным течением.

нул, пока расходы по моей перевозке и денежные затруднения Форда не сделали подобный шаг уже явно небезопасным. Впоследствии, находясь во власти других хозяев, не похожих на Уильяма Форда, я уяснил, что малейшее обнаружение моей истинной сути мгновенно погрузит меня в еще более безнадежные глубины рабства. Я был слишком дорогим невольником, чтобы меня терять, и прекрасно сознавал, что меня увезут еще дальше, в какую-нибудь глушь, например за тexasскую границу, и там продадут. От меня избавятся так, как вор избавляется от украденной лошади, если раздастся хоть шепоток о моем праве на свободу. Поэтому я решился запереть покрепче эту тайну в своем сердце – никогда ни словом, ни звуком не обмолвиться о том, кем или чем я был, доверив мое избавление Провидению и собственной сообразительности.

В должное время мы сошли с парохода «Рудольф» в местечке, именуемом Александрией, в нескольких сотнях миль от Нового Орлеана. Это маленький городок на южном берегу Ред-Ривер. Переночевав там, мы утром сели в поезд и вскоре были уже в Байю-Ламури, городке еще меньшем, расположенном в 18 милях от Александрии. В те времена железная дорога там и оканчивалась. Плантация Форда располагалась в 12 милях²⁷ от Ламури по тexasской дороге, в «Великих Сосновых Лесах». Это расстояние, как нам было объявлено, придется пройти пешком, поскольку никакого общественного транспорта там не было. Итак, все мы двинулись в путь в обществе Форда. День выдался чрезвычайно жаркий. Гарри, Элиза и я были все еще слабы после болезни, и подошвы наших ног сделались весьма чувствительны в результате перенесенной оспы. Мы продвигались медленно, Форд позволил нам не торопиться, присаживаться и отдыхать всякий раз, как мы пожелаем (этой привилегией мы пользовались довольно часто). Выйдя из Ламури и миновав две плантации, одна из которых принадлежала мистеру Карнеллу, а другая мистеру Флинту, мы достигли «Сосновых Лесов» – пустоши, простиравшейся до реки Сабин.

²⁷ Американская миля составляет 1 км 609 метров. Таким образом, 12 миль равны 19,3 км. – Прим. ред.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.